СЕМЕН ШМЕРЛИНГ

СЕРЕБРЯНЫЕ ШПОРЫ

СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1981

СЕМЕН ШМЕРЛИНГ

ИЗ РАССКАЗОВ ВОЕННОГО ЖУРНАЛИСТА

●

СЕРЕБРЯНЫЕ ШПОРЫ

СЕМЕН ШМЕРЛИНГ

ИЗ РАССКАЗОВ ВОЕННОГО ЖУРНАЛИСТА

◊

СЕРЕБРЯНЫЕ ШПОРЫ

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1981

Р2
Ш72

Ш $\frac{70803-086}{М158(03)-81}$ 4803010102

ИЗ РАССКАЗОВ ВОЕННОГО ЖУРНАЛИСТА

ЧАСЫ

1

...Притулившись к закопченной дымовой трубе, Валя сидела на палубе. Левый бок грело ласковое тепло, проникая через грубошерстную матросскую шинель и фланельку, правый был под февральским ветром. Его резкие порывы грозили сбить с головы великоватую мичманку, швыряли в лицо снежную крупу и соленые ледяные брызги.

Геленджик остался за кормой старенького парохода «Земляк», на котором плыла Валя. Гористый берег застилали снег и туман, заносил дым из десятков судовых труб. Разномастная и тихоходная флотилия — пароходы вроде «Земляка», портовые буксиры, курортные катера, рыбацкие баркасы — каботажная братия — двинулась курсом на Новороссийск.

Быстро темнело. Густая мгла надежно прятала утлую армаду от свирепых ударов «юнкерсов» и «хейнкелей».

Тридцать лет спустя в своей обжитой и уютной свердловской квартире, сидя вместе с мужем и внучкой Варенькой у телевизора, Валентина Антоновна увидит на экране несколько кадров, от которых сожмется и дрогнет сердце. На сероватой кинопленке военных лет мелькнет съежившаяся у пароходной трубы худенькая и маленькая девушка во флотской форме, мелькнет и истает.

Валентина Антоновна захочет подняться, показать эту девушку мужу и внучке, но не сможет и двинуть рукой. А муж, уже пожилой и грузноватый, но с такими же, как и тридцать лет назад, ясными глазами, тоже приметит девушку на экране и закричит удивленно и радостно:

— Валя, Валя, ведь это же ты, ей-богу, ты!

Да, это и была она — юная радистка Валя Линник. Рацию тогда берегла пуще глаза, закутала старым бушлатом и не доверяла ее своему помощнику, тщедушному матросику: еще уронит. Они познакомились перед самой посадкой и толком ничего друг о друге не знали. Подобравшись к ней по шаткой палубе, матросик спросил:

— Слушай, ты чья?

— То есть как это «чья»? Чи я кому принадлежу?

— Ты откуда будешь?

— Так бы и спрашивал. Ростовская.

— Вот те на, землячка.

— Так не совсем, это я в городе училась, девять классов кончила. А так — из района Мичуринского, с хутора Омельченка. Донская казачка.— Это последнее звучало убедительно, многие приставучие парни мигом отшивались. Но матросик все спрашивал:

— Отец-то с матерью где?

— Мамы нет,— вздохнула Валя.— Померла. Батя все новую искал... И выходит, я ничья...

— А на радистку как выучилась?

— На курсах, в Лазаревской. Да чего ты пристаешь? Чи ты следователь, чи из газеты? Лучше за питанием для рации смотри, а то рот разинул, разговорчивый какой!

Валя отвернулась и проворчала что-то обидное насчет его худобы и слабости. Она сейчас не могла долго разговаривать ни с кем: надо было обдумать и решить свое, сокровенное.

Когда же ей признаться? Теперь или попозже?

Нет, лучше позже. Так вернее.

Еще при посадке Валя облюбовала двух моряков понадежнее. Пожилые дядечки, в отцы ей годятся. Оба крепыши, над выцветшими гюйсами — литые шеи, а плечи крутые, словно приспособленные держать тело «максима» или противотанковое ружье.

Вот им она и признается. Такие поддержат, пособят. У старых моряков железный закон: товарища выручать.

Но скажет она перед самой высадкой. Тогда уж точно, пути назад не будет!

Зимнее море бурлило. Волны казались совсем темными от падающего белесого снега. Глаза лишь иногда схватывали соседние суденышки «тюлькиного флота», как называли десантную эскадру моряки, и только пару раз рисовался вдали стройный силуэт миноносца.

— Приготовиться! — разнеслась по палубе команда.

Значит, скоро берег и бросок. Пора.

Она поднялась и, просунув руки в заплечные ремни, навьючила рацию. С ней как-то надежнее, увереннее, что ли. Балансируя, подошла к тем двум морякам и, вздохнув, решилась объяснить свою беду и просить помощи.

Но вдруг с берега яростно забили орудия, рванули воздух пулеметы. Валя оцепенела.

Багровые всплески осветили суда, клокочущее море и седые, выше волн, фонтаны разрывов. Справа вспыхнул низенький катер и, казалось, загорелась сама вода. Слева оседала разваленная снарядом баржа.

Самое страшное творилось на кромке берега, там бесновался косой огненный дождь, все трещало и свистело.

Может, час, а может, много меньше «Земляк», другие суда и суденышки маневрировали, ожидая, когда сигнал позовет их к берегу, но так и не дождались. Морякам и морским пехотинцам вскоре стало ясно, что десант под Озерейку не удался. Слишком велики у фашистов силы, раз первый эшелон не мог зацепиться. По сигналу десантная флотилия повернула вспять и под утро пришла в Геленджик.

Валя вернулась на облюбованное ею местечко, к пароходной трубе. Время словно остановилось. Десантники не покидали судов, а последние, не заходя в гавань, сохраняли строй на рейде. Бойцов покормили горячим обедом. Приказали почистить оружие. Все понимали: высадка не отменяется, а только откладывается.

Поговаривали, что флотилия направится не в Озерейку, а куда-то в другой пункт, тоже неподалеку от Новороссийска. Но куда? Валя и ее товарищи в ту пору еще не знали подлинную обстановку. Если на главном направлении десант не имел успеха, то на вспомогательном небольшой отряд моряков во главе с хладнокровным и отважным майором Куниковым дерзко высадился на побережье, разметал фашистов и занял оборону. И вскоре к небольшому поселку Станичка пошла вся десантная армада.

Валя похвалила себя за выдержку. Если бы призналась под Озерейкой, что совершенно не умеет плавать, ее бы как пить дать списали на берег. А так осталась на борту. Стыдно, конечно, ой как стыдно: донская казачка, столько лет провела близ реки, неподалеку от моря и не выучилась плавать! Но кому тут объяснишь, что лет восьми оступилась в ямину, едва не потонула и с тех пор робеет в воде.

Эта ночь была посветлее прошлой, снег падал редкий; и берег Валя увидела издалека. Наверное, немцы еще не успели перетянуть основные силы к Станичке. Ору-

дийных выстрелов не было слышно. На узенькой полоске побережья трещали автоматы, зло лаяли пулеметы, с надрывом рвались мины.

«Земляк» развернулся бортом к берегу. Подхватив оружие, десантники готовились к броску. А она все откладывала с секунды на секунду. Но вот в сопровождении своего ненадежного помощника подошла к двум кряжистым морякам. Один, с открытым добрым лицом, казался ей особенно подходящим. Он стоял у фальшборта и тихо, задумчиво напевал:

— Раскинулось море широко...

Вспомнила, фамилия у него знаменитая — Калинин. Медлить было нельзя, и она решилась.

— Калинин,— сказала негромко.— Помоги, а?

— Ты чего? — повернулся моряк.— А, небось рацию твою тащить?

— Да нет же, не рацию, а меня. Глубоко тут, а я плавать не умею.

— Ты?!

— Честное слово,— взмолилась Валя.— Поддержи как-нибудь...

— Вот так номер, да как же ты в десант затесалась?

— Надо было.

— Ха-ха-ха,— неожиданно рассмеялся Калинин.— Слышь, ребята, радистка на воде не держится. А с нами пошла!

Вокруг загалдели:

— Ну и девка, все молчала.

— Настырная.

— Не дрейфь, поддержим. Рацию-то отдай.

Под невысоким бортом катились плоские прибрежные волны. Дегтярно-темные мешались с пенисто-серыми, теснились, и как ни вглядывалась Валя, нигде не освобождалась твердь. Закружилась голова. Трясущиеся руки цеплялись за поручни. Сейчас, сейчас она провалится в бездну и никогда-никогда не выплывет на поверхность.

— Ну-у! — крикнул Калинин.

Десантники легко соскальзывали вниз и, разворачивая плечами волны, поднимая оружие, направлялись к берегу.

«Смелей! Ра-аз...»

Зажмурившись, она солдатиком прыгнула с борта и полетела в черную воду...

2

До боли в легких перехватило дыхание, и она даже не успела осознать своего испуга. Тяжелая, как металл, вода выбросила ее на поверхность, а морозный воздух обжег горло. Крепкие, ухватистые руки мигом вцепились в нее и поволокли на отмель. Под ноги подсунулось каменистое дно, и Валя, пошатываясь, встала и побрела к берегу.

Матросы сразу куда-то исчезли, и она оказалась на заветренном снежном насте, а рядом лежала все так же обернутая в бушлат рация. Вокруг была кромешная тьма и неожиданная после моря береговая тишина, в которой слышались только вкрадчивые шаги, перестук и звяканье. Мокрая с головы до пят, в набрякшей шинели, Валя была растеряна и беспомощна. Надо было чего-то делать, куда-то идти.

Подхватив рацию за лямки, она стала взбираться по скользкому откосу, вздрагивая от громкого чавканья своих промокших сапог: ну как услышат немцы! Вскоре она набрела на кирпичную трансформаторную будку и, положив рацию, устало прислонилась к стене, размышляя вяло, с трудом. Внезапно густую темноту прорезал острый дрожащий свет, синие тени заметались на снегу, и тотчас ломко затрещали выстрелы.

Окрестность наполнилась командами, криками, стонами, горькой и злой руганью.

Справа, откуда-то снизу, донесся женский вопль:

— Таню убили, Таню!..

Валентина поползла на крик.

— Где? Какую Таню?

Спустившись в узкую и мелкую балку, Валя увидела на затоптанном снегу два распластанных тела. Одно зашевелилось: рослый, широкогрудый моряк попытался сесть, второе оставалось неподвижным. Она узнала девушку-санинструктора, присланную в батальон перед самой погрузкой.

— Раненого выносила,— всхлипывал женский голос.— А ее миной.

— Может, жива еще?

— Нет, наповал.

Вокруг, как овцы в закуте, сгрудились девушки-медички и связистки. Тоскливо шептались. Откуда-то сверху раздался голос:

— Что толпитесь... А ну брысь по сторонам. Хотите, чтобы одной миной шлепнуло?

Валентина узнала матроса Калинина, который вместе с товарищами вытаскивал ее на отмель.

— Разойдись,— приказал он, и девушки послушно расползлись. Валя обрадовалась знакомому.

— Рация у меня,— стала объяснять.— Куда мне с ней?

— Э-э, какая сейчас рация, не до нее. Ты вот что, перевязывать умеешь?

— Малость.

— Вот и ладно. Подавайся в санитарки. Сумку медицинскую у Татьяны возьми. Поняла?

— Ага.

Поселок был очищен от немцев, но находился под обстрелом. У хат лежали раненые — пехотинцы и моряки — ждали помощи, просили пить. Первым, к кому подползла девушка, был пожилой красноармеец с меловой бледности лицом, он зажимал живот, стянутый пропитанным кровью полотенцем. Красноармеец встретился с Валей глазами. Через силу сказал:

— Что смотришь? Работай.

— Я моментом,— встрепенулась она. Непослушными пальцами развязала полотенце, достала из сумки бинт. На рану старалась не глядеть.

— Перевязывай, сестричка,— ободрил красноармеец.— Ну...— Она набрасывала неровные витки поверх гимнастерки, скованная неловкостью и страхом. Потом, страдая от непомерной тяжести, потащила бойца к берегу. И снова вернулась в поселок.

Сколько раненых перебинтовала она за ту первую в своей жизни десантную ночь, сколько перетаскала к причалу?! Может, пять, может, десять, а то и больше. Утром Валя не верила себе, все казалось ей страшным сном — и сладковатый запах крови, и сдерживаемые стоны, и свои дрожащие, неверные руки, и тяжесть беспомощных мужских тел. Да было ли все это?

Было. Ее флотская шинель покрылась сухой бурой коркой — застывшей кровью, и утром, в наспех отрытом окопе, девушка усталыми пальцами мяла ворсистое сукно, и от него отпадали хрупкие и легкие чешуйки.

— Чем, заметьте, хороша шинель,— говорит Валентина Антоновна,— тем, что в обращении проста: по-

трешь, помнешь — и как новая, будто только у старшины получила.— Женщина поправляет волосы и перебирает на коленях привычное шитье — какой-то цветастый воздушный материал.— Эх, с души бы вот так же стряхнул и — нет... А все как иглой в сердце воткнулось, навсегда тут!

— Что же?

— А например,— она словно удивилась себе,— часы!

— Часы?

— Да. И помню, когда появились — на третий день десанта. Часы эти самые — дешевая немецкая штамповка — мне поворот сделали. Ожила. Не верите? Точно.

Утомленная, голодная, Валя смутно сознавала происходившее на плацдарме и работу свою выполняла механически. Накладывала повязки, давала пить, что-то бормотала и таскала, таскала тяжелые тела. В свободные минуты дремала в узком и неглубоком окопчике.

Однажды, разбив дрему, ее толкнул знакомый матрос Калинин. Она очнулась.

— Жива? — громко спросил он.

— Да,— безучастно ответила девушка.— Живая.

— Вот и ладно. Прими-ка одну вещицу,— моряк ловко спрыгнул в окоп, разгоряченный, мокрый, и протянул ей удивительный в этой грязи и неуюте аккуратный ящичек. Из полированной фанеры с выдвижной крышкой.

— Держи, Линник. Пусть у тебя будут, под охраной и обороной.

— А что это... будет?

— Глянь,— Калинин выдвинул крышку.

Разделенные картонными переборочками, в ящике лежали новенькие, блестевшие никелем наручные часы. Вожделенная мечта нашей довоенной юности. Она вытащила гладкий кругляш и невольно залюбовалась строгостью тонких стрелок, матовым отливом циферблата.

— Откуда это?

— Трофеи наших войск. В немецком блиндаже взяли. Побереги.

— Хорошо.

Класса этак с седьмого она представляла себе, как станет взрослой и купит себе часы. Красивые, с ремешком, или лучше — с браслетом. С завистью смотрела на

огромные, во все запястье, часы Кировского завода, самые ходовые. Для скромной семьи Линник такая покупка была роскошью. А сейчас, в окопе, она не испытала радости, с суеверной досадой подумала о неожиданном подарке: возьмешь — и будешь наказана: ранят или...

Оттолкнув ящичек в самый угол окопа, Валя присыпала его землей. И только в полдень вспомнила о нем.

Теперь она делала все что могла и уже не пугалась разверзтых ран, пулевых и осколочных, крови, стонов и все-таки чувствовала себя маленькой и жалкой, беспомощной перед людскими страданиями. В самую ее душу смотрели глаза раненых, и она все бы отдала, чтобы успокоить эту безмерную боль, ободрить бойцов.

Тогда Валя и подумала про часы.

— Слушай, что скажу,— обратилась девушка к молоденькому матросу с перебитой осколком ногой. Она уже наложила повязку, и паренек все пытался приподнять голову и взглянуть на перебинтованную ногу.

— Чего тебе? — прохрипел он.

— А вот хочу сказать: дрался ты очень здорово, хорошо дрался, миленький.

— Ну?

— Наградить тебя надо.

Матрос повернул к ней помертвевшее лицо:

— Орден дашь? — В голосе прозвучала усмешка.

Валя обрадовалась ей:

— А что? Могу.

— Давай,— он откинулся на спину.

— Сейчас, сейчас,— девушка кинулась в окоп, достала из ящичка никелированный кругляш, вернулась к раненому.

— Смотри, какая красота.

Он скосил глаза:

— Что это? Часы? Мне?

— Тебе, тебе. А орден после получишь.

— От кого? — недоверчиво спросил моряк.

— От...— поколебавшись секунду-другую, Валя решительно соврала: — Комбат приказал. От него — подарок.

— Ну?

Сжав в грязной ладони часы, он поиграл ими, как ребенок игрушкой, потом протянул Вале:

— Заведи.

Она накрутила кнопочку завода.

— Идут.

Моряк подержал часы около уха, послушал, и бледные губы его тронула улыбка:

— Спасибо, сестричка.

Гордая своей выдумкой, Валентина стала раздавать трофеи раненым. Перевяжет — и преподнесет. Постепенно она сочинила целую речь и ею сопровождала подарок:

— Это комбат приказал тебя наградить за отвагу и смелость,— говорила она.— Он видел, как ты хорошо дрался с фашистами, и хвалил тебя. Он бы сам тебе передал, да не может, занят очень. Так что прими награду, выздоравливай скорей и возвращайся. Молодец ты, герой, миленький.

Трудно сказать, верили ей или нет. Но все радовались наградам, даже тяжелораненые.

Запас трофейных часов кончался, когда снова пришел матрос Калинин, и она, смущенная, но уже веселая и деятельная, перед ним повинилась. Ждала обиды, возможно, и ругани, но Калинин только рассмеялся:

— Ну, девчонка, хитра... Ишь что придумала, награды раздавать. А ведь верно: пока еще человек орден получит, да и получит ли, по госпиталям мотаючись, а тут, пожалуйста — награда от имени и по поручению. Дуй, Валюха, не жалей трофеев,— он покрутил головой.— Здорово! За отвагу и геройство.

Обрадованная, оживленная, она ловко выпрыгнула из окопа и быстро-быстро поползла по-пластунски среди воронок, зорко оглядываясь по сторонам — нет ли где пострадавших, не ждет ли кто ее помощи.

На шестой день десанта ее контузило. Падал легкий снег. Вверху, в белесом тумане, что-то загудело, прорезался острый свист. Она прижалась к моряку, которого тащила к причалу. Ослепила и померкла короткая вспышка... Очнулась, испытала какую-то легкость и пустоту, в ушах звенело, а в горле было горячо. Хотела крикнуть, изо рта хлынула кровь.

На мотоботе по пути в Геленджик Валя дремала и ей виделся последний раненый — крупный и тяжелый, она тянула его изо всех сил и манила блестящим кругляшком трофейных часов.

Сквозь дрему она вдруг сказала, ни к кому не обращаясь:

— А я вернусь. Через неделю вернусь.

3

Полгода она провела в одном окопе.

Длиною метров в пять-шесть, шириною в разворот матросских плеч, глубиною в гвардейский рост, с приступочкой для Вали и плотно слежавшимся бруствером, окоп был отрыт двумя моряками в марте 1943 года. Недолго его покрывал мокрый снег, потом липкая грязь. С теплом появились кустики редкой травы, их тут же выжгло солнцем. С поздней весны до ранней осени стенки и бруствер изборождили трещины, по которым стекали горько пахнущие порохом песок и пыль.

Окоп был боевым рубежом, крепостью, кубриком, кухней, кают-компанией — всем на свете.

Лишь иногда в полночь вокруг застывала чуткая тишина. Обычно же гремели разрывы, летели камни и комья земли, свистели осколки и пули. Метрах в двухстах впереди на взгорье тянулись немецкие траншеи. А за окопом, в ближнем тылу, простиралась Долина Смерти — лощина, насквозь простреливаемая врагом. За ней были полузасыпанный колодец, батальонный пункт боепитания и хозвзвод, куда надо было наведываться за боеприпасами и продовольствием.

Четверть века спустя Александр Дмитриевич внезапно оторвется от свежего «Огонька» и взволнованно позовет жену:

— Валя! Валя! Послушай, что написано про Малую землю...

— Что уж там нового?

— Да вот, арифметика...

— Какая?

— Тут подсчитано — четыре бомбы или снаряда на каждый квадратный метр...

— Вот... А мы и не считали,— задумчиво скажет Валентина Антоновна.— Значит, четыре... Ведь я-то и была на этом... метре, по большей части на нем и сиживала.

И вспомнит...

— Вернулась? — спросил матрос Калинин, ее спаситель.— Зря вернулась, могла бы после контузии и в Геленджике позагорать, хватит с тебя.

— Выходит, не могла бы!

— Это почему?

— Боюсь, женихов упущу,— огрызнулась Валя.

Пуще обстрелов боялась она потерять свой батальон. Всего шесть дней провела на плацдарме, а на-поди, потянуло, как в родную семью.

— Какие мы женихи,— подхватил шутку моряк.— В бати тебе годимся.

— Не скажи. Ишь какие орлы! Можно я к вам?

— Ладно, примем. Окоп большой, места хватит.

Валя исправно несла службу. Часами дежурила по ночам, до боли в глазах всматривалась в густую темноту, прислушивалась к каждому шороху. Во время перестрелок вставала на свою приступочку, вела огонь из винтовки. Матросы к ней привыкли: свой парень.

В начале апреля выпал ей черед ползти за продовольствием и водой через Долину Смерти.

— Соли не забудь,— наказали моряки.

Валя сжала в кулаке ремешки фляжек и дужку котелка, чтобы не бренчали, отталкиваясь локтями, ногами, двинулась, как учили в Геленджике, по-пластунски.

В лощине — царство мертвых. Душа леденеет, когда невольно взглянешь в остекленевшие глаза, на судорожно сжатые тела. Спирало дыхание от тяжкого смрада. Но все это, оказалось, полстраха. Настоящий был впереди.

— И-и-у,— ввинтился в уши стонущий звук.— И-и-ах,— в полусотне метров грохнула мина, с ядовитым шипением полетели осколки. Валя приникла к трупу, как к живому защитнику. Упало шесть мин, пока она проползла Долину Смерти.

— Пейте,— сказала Валя своим «старикам», свалившись в окоп, и тотчас у нее задрожали губы и полились слезы.

— Спасибо, Чижик.— Калинин жадно прилип к фляге.— Молодец, Чижик...

Вале прозвище понравилось. Ей оно давно известно: многих таких молоденьких военных девчонок называют Чижиками, это вполне почетное имя.

Постепенно у нее выработались окопные навыки. Узнала, когда способнее пускаться в путь-дорогу: сумерки — самое подходящее время. Коли не было конины и сухарей, приноровилась сосать завернутый в тряпицу комочек сахара, медленно, долго, а то, укрывшись шинелью на дне окопа, потягивать махорку: дух у нее сытный. На дежурстве, часами наблюдая за противни-

ком, делала «физзарядку», чтобы не затекли руки и ноги. Притерпелась к обстрелам, разрывам мин и снарядов. К одному не могла привыкнуть — к бомбежке.

Самые ужасные бомбардировки с воздуха пришлись на вторую половину апреля. Говорили, что фашисты приурочили их ко дню рождения своего проклятого фюрера. 17 апреля было 1200 самолето-вылетов, 18-го — 1500.

Первый налет настиг Валю недалеко от окопа. Она доставляла воду. Косяк «Юнкерсов-87» завис над плацдармом. Черные на фоне солнечного неба машины одна за другой рванулись в пике. Земля затряслась от разрывов, вздыбилась. Валя упала навзничь, прикрыв телом фляжки и зажав лицо руками. Но огненные вспышки все равно обжигали глаза.

— Пусть уж убьет, поскорее убьет,— молила она.— Все, все!

Контуженная, она еще долго лежала в Долине Смерти, и верно, в батальоне посчитали ее погибшей. Во всяком случае, писарь успел написать и отправить ее родным первую «похоронку». Вторую послали в сорок четвертом, после Эльтигенского десанта.

Когда в квартире Ивановых мы говорили про эту бомбежку, Александр Дмитриевич достал из папки старое письмо от своего однополчанина И. Ф. Жирухина, который некоторое время находился на Малой земле, и прочел несколько строк:

«Я 17-го апреля отплывал на мотоботе от берегов и оглянулся: передо мной была сплошная пелена дыма и огня, весь плацдарм напоминал разворошенный костер — все горело, в небо поднимались искры. И казалось, там нет ничего живого...»

А Валя через сутки приползла в свой окоп и даже принесла фляжки, наполненные теплой и мутной водой.

В июне — июле огонь на плацдарме несколько поутих, но возникла другая беда: на бойцов напала цинга. Кружилась голова, слабели руки. У многих опухали десны, шатались и выпадали зубы. Малоземельцы и тогда нашли спасение. На обожженных огнем, покореженных виноградных лозах упрямо вырастали и стойко дер-

жались зеленые, покрытые пылью листья. Их горькую сочную мякоть жевала и Валентина.

— Что приуныл, Чижик? — сказал однажды матрос Калинин.— Работы нет? Это же хорошо, что раненых поменьше стало. Не горюй, дело тебе найдем.

— Какое?

— Хорошее. Глаза у тебя острые, молодые, стреляешь метко. Учись на снайпера. Винтовка такая в батальоне есть...

И вот едва ли не ежедневно выходила она на охоту. И зорко караулила каждое движение в фашистских окопах. К 10 сентября, когда наши войска штурмом овладели Новороссийском, на прикладе ее снайперской винтовки было пятнадцать зарубок.

— На войне всегда так,— говорит Валентина Антоновна.— Есть работа — убегает страх...— Сидя за швейной машинкой, женщина сноровисто строчит белое полотно. Я приглядываюсь. Валентина Антоновна уже подшивает голубой широкий воротник.

— Матроску для внучки шью,— поясняет она.— Сейчас гюйс прилажу — и готово.

4

Когда же они встретятся — Валя и Александр?

Признаться, мне хотелось ускорить давно прошедшие события или, по крайней мере, поторопить рассказчиков. Да жаль было упустить драгоценные подробности. Слушая Ивановых, все ждал: вот-вот скажут о своем первом свидании. Пути их то сходились, то расходились, а встречи все не было.

Минули и штурм Новороссийска, и Анапский десант, в который ходила Валентина Линник,— прибрежные мины-ловушки, непрестанный огонь, прижимавший к сыпучему песку; ранение Вали, госпиталь в станице Славянской, из которого, не долечившись, девушка просто-напросто убежала в свой батальон. Прошло и томительное сидение на косе Чушка́: в залитой водой саманной землянке, изнурительная служба, тренировки и ожидание нового десанта.

Наконец Александр Дмитриевич упомянул, что впервые увидел Валю под Керчью. Я с нетерпением ждал:

как, при каких обстоятельствах? Но рассказ об этом внезапно отдалила малопонятная фраза:

— Валя, ты забыла про шкаф!

— Про что? — с недоумением переспросил я, размышляя, как это в их судьбу мог вмешаться сей предмет домашнего обихода.

— Именно,— настаивал Иванов,— обыкновенный старый шкаф...

— Ладно,— согласилась Валентина Антоновна.— Расскажу...

...Пролив кипел, хотя декабрьская вода дышала холодом. У берега рвались снаряды. Разрывы перемешивались с пенистыми бурунами. Мористее шныряли фашистские катера, караулили самоходные баржи, расстреливали плывущих из пулеметов.

На окраине рыбацкого поселка, у самого уреза воды, стояли трое: высокий, широкогрудый старшина роты, бывалый матрос Калинин и радистка Валентина Линник. Они и еще десятка три морских пехотинцев — это было все, что осталось от большого десантного отряда. Несколько часов тому назад он высадился у поселка, чтобы ударом во фланг поддержать наш крупный десант под Эльтигеном, но сразу же попал в огневой мешок. И вот теперь эти трое оказались отброшенными на узкий и пустынный галечный пляж. Впереди кипел Керченский пролив, позади неумолимо приближались цепи гитлеровцев.

— Не вытянем через пролив,— мрачно сказал старшина.— Перебьют, как уток. Надо плыть вдоль берега, до завода Войкова доберемся, а там — наши... Ясно?

— Не совсем,— ответил Калинин.— Шлюпка нужна. Ты погоди чуток.

— Чего годить, сколько ни смотри, плавсредств не высмотришь. Все обшарил.

Действительно, на пляже не было видно ни единой посудины, ни даже бревнышка.

— Ждать нельзя,— настаивал старшина.— Одно спасение — вплавь. Осторожно, тихо — фрицы не заметят. Айда.

Валя молчала, думала тяжкую думу. Для нее спасения нет. Моряки, те еще могут. Чего же им мешать.

— Постой,— задержал старшину Калинин.— Чижика бросать нельзя.

— Бросать? Зачем? С нами...— старшина не договорил, все понял.— Что? Плавать не умеет...— Он крепко выругался.— Совсем не умеет?

— Совсем,— виновато ответила Валя и с горькой иронией подумала: если бы и умела немного, разве бы совладала с бурным морем?

— Да, дела-а. Придется до последнего патрона...

— Не надо. Плывите, а я тут...

— Что «тут»? Пацанка, одна воевать будешь?

— Не торопись, друг,— сказал Калинин.— Давай по хатам пошарим, может, что и найдем.

— Ладно. Только быстро.

Они побежали, а Валя осталась одна, как при первом своем десанте в Станичку. Правда, с тех пор она сильно переменилась. Уже не прежняя беспомощная девчонка, что страшилась даже хлюпанья промокших сапог. Теперь она нашла бы силы и в одиночку принять бой. Валя залегла, изготовила автомат к стрельбе.

На пляже жахнула мина. С жужжанием, на излете упали пули. Огненные высверки подступали с трех сторон: противник загибал фланги. Посмотрела на дом — большой, темный, с пустыми глазницами окон, сорванной крышей. Где же товарищи?

Первым из дверей показался Калинин. Шел он странно: медленно, согнувшись, оттянув руки за спину. А за ним выполз длинный и широкий ящик, который сзади поддерживал старшина.

«Шкаф,— поняла Валя,— зачем он им?» Едва задав вопрос, сразу нашла ответ и затрепетала от радости. Это — спасение. Через минуту ее уже мучили сомнения: выдержит ли, не развалится?

Почти бегом моряки достигли пляжа и бережно положили гардероб на хрустящую гальку.

— Дубовый, вместительный,— отметила Валя,— сырой весь, под дождем и снегом, видать, долго стоял.

— Водой набряк,— подтвердил Калинин.

— И хорошо, течи не будет,— старшина выламывал створки.

— А может, и будет. Чижик, котелок с тобой? Бери вместо черпака.

Сложив в шкаф оружие и сапоги, матросы столкнули его на воду.

— Садись, Чижик.

— Всем места хватит.

— Нет. Мы вместо буксира. Ну, отдавай швартовы ...

Зыбкая посудина отвалила от берега и закачалась на волнах. Старшина и Калинин, махая саженками, плечами и головой толкали новоявленное «плавсредство». Держась за тонкие стенки, Валя следила за моряками и душевно переживала их мучительный труд. Может, чем помочь? Перегнулась через борт, попыталась грести ладонью — куда там, шкаф зашатался, чуть не перевернулся.

— Не рыпайся,— зло буркнул старшина.

Когда она замерла и осмотрелась, то испытала тоскливый страх: жалкая, беззащитная скорлупка на виду стреляющего чужого берега. Наверное, Калинин понял ее и крикнул ободряюще:

— Идет, идет корабль!

За бурной прибрежной полосой волны стали спокойнее, катились плавнее, утлая ладья стала устойчивее. Но воды на дне скопилось немало, и девушка заработала котелком.

Втянувшись в работу, моряки расчетливо и хладнокровно буксировали шкаф. Отказавшись от утомительных саженок, перешли на ровный моряцкий брасс, и посудина медленно, но верно переползала с волны на волну.

Поначалу девушка не замечала холода. Но вот промокли шинель и брюки, и ледяные лапы сжали тело. Привстать, подвигаться было невозможно. И работа котелком не согревала. Вскоре потянул сильный встречный ветер, и от его порывов закоченели руки, грудь закололи тысячи иголок. Хуже того, ветер раскачал волны, поднял суету брызг и пены. Валя крутила головой, поворачивалась, затаивала дыхание, но солено-горькая вода лезла в рот, нос, уши. «Захлебнусь,— ужаснулась девушка.— Просить, чтобы повернули к берегу...» И останавливала себя: на берегу гитлеровцы. А морякам в сто раз тяжелей, чем ей.

— Чижик, ложись... Самоходка.

Она невольно повернулась и увидела самоходную баржу, ее черный силуэт заслонял небо. Валя легла на дно, в самую пену. Моряки укрылись за посудиной, погрузились поглубже.

Шкаф взлетал и поворачивался на волнах.

Долго тянулись несчитанные секунды. Ветер донес чужую гортанную команду. Ударил пулемет. Очередь

вспорола воду, и несколько пуль пробили угол шкафа. Валя ощутила толчки. Дышать ей было тяжело. Хватая ртом воздух вперемешку с пеной и брызгами, девушка все чаще их глотала, в животе набухал тошнотворный ком.

— Ушла, проклятая!

...Вот уже много лет подряд на солнечном берегу Черного моря, в Новороссийске, собираются морские пехотинцы, ходившие десантами на Малую землю, в Анапу и Керчь. Съезжаются они в чудесную пору сентября. Узнают друг друга. Радуются. Вспоминают. Рассказывают молодым о боях и походах.

И конечно, отдыхают, наслаждаются ясным небом и голубым морем, вволю плавают и загорают. Но Валентина Антоновна ни разу не вошла в воду. Она остается на берегу. Только в первый приезд ее спросят:

— Чижик, что не купаешься, а Чижик?

И она ответит:

— Спасибо, накупалась. Наглоталась соленой водички на всю жизнь...

— Ушла,— прошептал Калинин и вместе со старшиной опять принялся буксировать спасительный шкаф, а Валя, судорожно глотая воздух, превозмогая тошноту и боль, снова стала вычерпывать воду.

Под утро они добрались до завода Войкова, что в Керченском пригороде, и, как рассчитывали, нашли своих.

Остатки десантного отряда, среди которых была и радистка Линник, были переданы в один из батальонов 255-й бригады морской пехоты, где начальником политотдела служил подполковник Александр Дмитриевич Иванов.

5

— И не спорь, не спорь, я тебя первым заметил. Точно.

— Не знаю, не знаю, ты меня, поди, и не замечал: начальник политотдела, подполковник, целая бригада под началом, а я кто такая? Простой матросик, каких у тебя сотни.

— Положим, не матросик, а старшина второй статьи, да еще кареглазый и кудрявый, с медалью.

— Что из того, были девчата и покрасивее, и похрабрее.

— Может, и были, только ты глянулась, как у нас на севере говорят. Тебя и выбрал.

— Это еще надо посмотреть, кто кого выбрал, кто кому приглянулся...

Ивановы шутливо пререкаются, посмеиваются. Конечно, они отлично помнят, где и как впервые свиделись. А если бы даже забыли, то им бы подсказал документ: в нем точно записаны год, месяц и день их первой встречи.

Мартовским вечером 1944 года из душных и мрачных Аджимушкайских каменоломен вышли два моряка-офицера и красноармеец-фотограф с «лейкой» через плечо. Их встретил матрос-проводник. В отличие от него, облаченного в грязный маскхалат, трое были одеты на удивление тщательно, как на парад. Обмундирование отутюжено, ордена и пуговицы надраены до блеска. Однако парадный выход не удивил бойцов, сидевших в окопах у каменоломен, где размещались штаб и политотдел бригады.

— В батальон направились,— уважительно заметил один из них.— Сегодня прием в партию.

— Хоть бы немец потише стрелял, вида им не подпортил.

Но пожелание это не исполнилось. Противник редко давал передышку. Передвигаться пришлось и бегом, и на получетвереньках, а местами по-пластунски. Но в назначенное время четверо добрались до просторного батальонного блиндажа. Через несколько минут начальник политотдела вместе с членами парткомиссии сидел за грубо сколоченным столом.

Яркими пятнами мерцали лампы из снарядных гильз. Вспыхивали огоньки самокруток. Белели бинты повязок.

— Начнем,— сказал секретарь парткомиссии.

Потушены папиросы. Утих говор. В тишине отчетливее проступал треск недальней перестрелки.

— Первым разбирается заявление...

У самой стенки блиндажа поднялся, подпирая потолок, высокий молодой матрос. Смущенно улыбнулся.

Крупные сильные ладони то прижимал «по швам», то прятал за спину.

— Участвовал в трех десантных операциях. Был дважды ранен. Несколько дней назад в рукопашной схватке положил двух фашистов...

Иванов любил эти часы. Они были дорогим фронтовым праздником, по-новому высвечивали знакомые лица бойцов, подводили итог их тяжелой работе и борьбе.

— Первичная партийная организация приняла товарища и просит парткомиссию утвердить...

Комиссия приняла в кандидаты и члены партии уже несколько человек, когда блиндаж содрогнулся от близкого разрыва. Погас свет.

— Мешают,— огорченно сказал замполит батальона и приказал наладить освещение. Заседание продолжалось. И тогда-то из соседнего отсека, где размещались связисты, донеслась песня. Пел густой бас:

Раскинулось море широко,
А волны бушуют вдали...

В песне была сила и затаенная грусть. Все притихли, прислушиваясь.

— Кто же это поет? — удивился Иванов.

— Матрос Калинин,— ответил майор, замполит.

— А чего ради... поет?

— Должно быть, Чижика утешает,— как бы извинился замполит.— Уж у них так заведено.

— Какого Чижика?

— Проголосуем, тогда и расскажу.

Песня прервалась, и на некоторое время Иванов забыл о своем недоумении и любопытстве. Завершили голосование, а потом матросы составили на столе горящие лампы и коптилки, и в их колеблющемся свете за дело принялся фотограф. На фоне растянутой белой простыни появлялись то сосредоточенные, то смущенные, а то и напряженные, как перед атакой, лица матросов. Щелкал спуск фотоаппарата.

— Товарищ подполковник, вы про Чижика спрашивали,— напомнил замполит.

— Да. А кто он такой?

— Не он, а она,— усмехнулся майор.— Хотите, познакомлю.

— Ну что ж.

В закутке блиндажа оказалось всего двое: невысо-

кий, плечистый матрос и девушка. В тусклом свете немецкой плошки их лиц почти не было видно. Майор внес лампу-гильзу. Втиснулись и другие члены парткомиссии.

— Это вы пели? Девушку забавляли? — шутливо спросил Иванов.

— Так точно, товарищ подполковник,— серьезно, не принимая шутку, ответил матрос.— Грустит она... Давно вместе служим — с Малой земли. Как запечалится — пою. Беда — одну песню, других не знаю.

— Отчего же грустит? — отбросив шутливый тон, спросил подполковник.

— Случай такой. С полудня плакала. Как узнала, что нынче парткомиссия, так и начала.

— Это почему? — Иванов взглянул в лицо девушки и будто обжегся. Смуглые щеки ее были сухи, а большие темно-карие глаза, налитые слезами, искрились гневом. На вопрос она не ответила.

— Так какая причина?

— Видите,— пояснил замполит.— Чижик... то есть старшина второй статьи Линник, третий раз подает заявление в партию и ей все отказывают. Так получается.

— А она достойна?

— А как же. В пяти десантах участвовала, на Малой земле полгода пробыла и радистка классная, и даже снайперским оружием владеет. Имеет медаль...

— За чем же дело стало?

— За возрастом... Восемнадцати нет, хотя...

— Неправда,— строго сказала Линник.— Неправда ваша. Мне исполнилось восемнадцать. А не считают. В краснофлотской книжке неправильно записано.

Голос был грудной, сочный, с легкой хрипотцой, требовательными нотками. Она не просила, настаивала.

«Может, это нескромно — требовать, чтобы тебя приняли в партию,— подумал Иванов.— А почему, собственно? Не благ же она хочет. Воюет и воевать будет».

— Рекомендации у вас имеются? — Вслед за вопросом Иванов заметил, как изменилось лицо девушки. Нежный румянец вспыхнул на загорелых щеках, посветлели глаза.

— Есть, есть,— вмешался парторг батальона.— Все аккуратнейшим образом собраны. И я лично рекомендую Валентину Линник.

— Давайте рассмотрим как исключение,— нерешительно предложил один из членов комиссии.

— Почему — исключение? — обиделась Линник.— Не надо мне поблажек. Как всех, меня рассматривайте. А не верите — проверьте. Я правду говорю.

«Решительная, волевая,— подумал Иванов.— И красивая, сама не сознает свою красоту». Он внимательно вгляделся в девушку. Да, так. Давным-давно, еще ленинградским курсантом, Иванов любил бывать в оперном театре и слушал не раз — очень уж нравилась — оперу «Кармен». Может, это и смешно и чудно, но в девушке этой была такая же прямота, тот же огонь, что и у Кармен. Смуглая, легкая, гибкая — даже внешне походила на ту испанскую цыганку... Пять десантов! И я такого не испытал.

Замполит толкнул его плечом, шепнул с улыбкой:

— Донская казачка. Кровя!

— А зачем все-таки тебе так рано в партию? — спросил член парткомиссии.— Молодая еще, успеешь.

— Молодая? — Линник метнула на него горячий взгляд.— А может случиться, что старой никогда и не буду. Никогда!

Сделалось тихо.

— Ясно,— сказал Иванов. Про себя он твердо решил, что девушка совершенно права.— Я за то, чтобы рассмотреть дело Валентины... Как по батюшке?

— Антоновна,— радостно подсказала она.

— Я за то, чтобы рассмотреть заявление Валентины Антоновны Линник о приеме ее кандидатом в члены партии.

— И я,— согласился секретарь парткомиссии.

Пройдет много лет, и Александр Дмитриевич опишет этот эпизод в блиндаже, и краткие его воспоминания напечатают в книге «Керчь героическая». Там будет заключительная фраза: «Не знал я тогда, что этот самый Чижик станет моим боевым другом, моей женой». Но, беседуя с Ивановым, мы выясним, что была в этой фразе недоговоренность, что ли. Да, он не знал, что Валя станет его женой, но смутно понимал: нет, не сможет забыть этой девушки, ее неуступчивости и прямоты, легкой фигурки и смуглого лица, невылившихся слез из больших темно-карих глаз.

Иванов еще долго простоял у выхода из блиндажа, курил и все хотел вернуться и еще поговорить с девуш-

кой. Но его поторопили: надо было возвращаться в Аджимушкай.

Через несколько недель при штурме Керчи подполковник побывал во всех батальонах бригады, но долее всего задержался в 142-м, чтобы увидеть Валю, которая с рацией за плечами пробегала по только что занятой улице города.

6

Наступление продолжалось. Преследуя отходящего противника, бригада морской пехоты вместе с другими войсками продвигалась от Керчи к Севастополю. Обозы отставали, и бойцы «все свое несли с собой» — оружие, боеприпасы, продовольствие. Привалы были редкими.

Подполковник Иванов часть пути прошел в походном строю, а потом сел в «виллис»: надо было доложить начальству, узнать обстановку. Валю видел всего несколько раз, и, увы, мельком. В кирзовых сапогах, ватных брюках и ушанке, как была под Керчью, она несла рацию, не отставая от крепких мужиков-матросов. Как ему хотелось остановить машину и, наплевав на все условности, посадить ее рядом с собой. Он даже представлял, как скажет ей весело:

— Старшина второй статьи Линник? Здравия желаю.

— Здравствуйте, товарищ подполковник.

— Ноги-то не казенные, садитесь, подвезу.

— Обойдусь. Все идут, и я иду.

Признаться, боевой подполковник немного робел перед старшиной второй статьи. За словом она в карман не полезет.

За Старым Крымом моряки раздобыли на хуторах несколько рессорных тачанок, и на одной из них Иванов увидел радистку. Влекомая парой короткохвостых трофейных лошадей, тачанка катила по разъезженному тракту, напоминая годы гражданской войны. В экипаже, с тремя матросами, бережно придерживая радиостанцию, важно сидела Валентина Линник. А через несколько дней близ Балаклавы подполковник увидел ее верхом на резвой низкорослой кобылке, опять-таки с неизменной рацией. Она скакала за комбатом, оседлавшим рослого коня. Завидев Иванова, донская казачка лихо подбоченилась, крикнула:

— Конная-буденная!

Под Балаклавой бригада втянулась в тяжелый бой. Противник упорно оборонял крутые склоны горы, и бойцам приходилось, взбираясь под плотным огнем, отвоевывать каждую каменную пядь. Сутками без сна, находясь то в батальонах, то на КП бригады, Иванов был поглощен трудным ходом этой схватки. Но и тогда нередко думал о Вале. Она была вместе с комбатом на одной из узких обрывистых террас, откуда начался штурм вершины.

— Продвинулись на сто метров.

— Закрепились под самой вершиной.

— Головы не могут поднять — пулемет хлещет...

Вести были то обнадеживающие, то горькие. Одна особенно встревожила Иванова, заставила мучиться и ждать...

— В 142-м батальоне девушку ранило. Тяжело. С флагом поднималась к вершине, а ее разрывной...

— Кого? — дрогнув, спросил подполковник.— Фамилия?

— Не знаем пока. Уточним.

— Немедленно оказать помощь.

«Валю,— подумал и представил себе, как она лежит, истекая кровью, на узкой каменной террасе, у самого края обрыва, и сердце зашлось от боли и беспомощности.— Бросить все, добраться и спасти. Но нельзя уйти с КП».

— Товарищ подполковник, узнали. Балабанова Аня. Она на самой вершине. Доползла и флаг подняла. Взгляните...

На кремнистом пике полыхал под ветром маленький, как девичья косынка, ярко-красный флажок.

— Жива?

— Да.

«Храбрая ты, Аня Балабанова, Валина подруга».— Иванов гордился ей, всей душой желая счастливого возвращения, но вместе с тем радовался за Валентину: цела и невредима.

Прошла неделя-другая, и они встретились в степном крымском селе, куда морских пехотинцев отвели на отдых. Крым был освобожден. Награждали победителей. Не без умысла Иванов направился в 142-й батальон, зная, кому будет вручать орден.

— Поздравляю,— произносил подполковник обычные

в таких случаях слова, прикрепляя к кителю литую звезду.— Желаю успехов в бою и в жизни.

— Спасибо,— тихо ответила Валя и прямо, доверчиво заглянула ему в глаза.

Когда отшумел бригадный праздник и опустели столы, они оказались рядом на широкой сельской площади, источавшей дневной жар. Не сговариваясь, пошли вместе по вечерней улице, мимо пыльных акаций. Первым заговорил Иванов...

По прошествии стольких лет они достоверно не вспомнят всего, о чем говорили тогда, тем более речи их были горячи, но сумбурны. Известно только, что перебирали места минувших боев: Туапсе, Керчь, Новороссийск, Эльтиген и снова Керчь... Выходило: земляки. И еще известно, что оба испытали радостное удивление: один — северянин, другая — южанка. И вот, пожалуйста, встретились. Валентина называла подполковника на «вы».

Очень расстроил Иванова ее близкий отъезд.

— Отпуск дали краткосрочный, в Ростов.

— Да? — переспросил он с горечью.

— Ненадолго,— утешала она.— Десять дней с дорогой. Тетку повидаю и вернусь.

Он беспокоился, что бригаду переведут и ей придется искать своих по дальним, неизвестным дорогам. Но все обошлось. Бригада на целый месяц задержалась в степном селе. Истосковавшиеся по мирной работе, моряки усердно собирали хлеб с бедных, ограбленных войной полей. Валентина успела побывать в Ростове. И приехала она из отпуска не во фланельке или кителе, а в гражданском платье, не в кирзовых сапогах, а в легких туфельках.

Иванов смотрел на нее с восхищением. Среди выгоревших форменок объявилась белоснежная фея с орденами и медалями на груди.

Ох уж это платье, настоящее чудо!

— Тетка мне его за ночь сварганила,— смеется Валентина Антоновна.— Даже в талию, с оборочками,— и ловкими, быстрыми пальцами мастера-закройщицы, что за тридцать лет скроили тысячи самых модных женских нарядов, рисует в воздухе замысловатый силуэт.— И из чего? Из обыкновенной простыни.

— Красивое платье,— вздыхает Александр Дмитриевич.— Только на второй день снять его пришлось: служба.

Солдатский, а также и матросский «телеграф» знает решительно все — от боевых действий до личных отношений. И, конечно, в бригаде были осведомлены о том, что подполковник Иванов неравнодушен к старшине второй статьи Валентине Линник. А она в ту пору была на виду. Как классную радистку, ее перевели в батальон связи.

— Чижик, твой звонил, тебя спрашивал,— докладывали подруги с коммутатора.

— Какой это «мой»?

— Подполковник. А то не знаешь?

— Старшина второй статьи Линник,— строго обращался комбат.— Тобою начальник политотдела интересовался. Не провинилась в чем, а?

Со временем их отношения утратили для окружающих необычность и остроту, стали привычными для бойцов и командиров. Встречи открытые, на людях никого больше не удивляли. Да и отдых, когда они виделись едва ли не каждый день, подошел к концу. Война позвала к делу, в новые десанты.

Бригада морской пехоты на автомобилях-«амфибиях» форсировала Днепро-Бугский канал, ударила на Одессу, а оттуда морем на больших транспортных судах поплыла к берегам Румынии, высадилась и вступила в бои. В ту пору они изредка переговаривались по полевому телефону.

— Чижик,— предупреждали девушки с коммутаторов,— Александр Дмитриевич обещал позвонить. Жди.

Валентина еще не до конца разобралась в своем чувстве. Оно радовало и смущало. Нравился этот крепкий человек с ясными северными глазами, всегда спокойный, уверенный и такой надежный. Валя не отговаривалась от встреч, ждала их с нетерпением, не таилась от подруг. Но и твердого ответа себе дать не могла. Что-то будет?

И вдруг все решилось.

— Валя! — в радийную машину вбежала связистка.— Валя! С подполковником... беда.

— Что? — похолодела Валентина.— Ранен?

— Да. И контужен.

— Где он?

— В госпитале.

В политотделе, где девушку отлично знали, ей сообщили, что произошло. Машина его попала на марше в аварию и опрокинулась. Иванов тяжело пострадал. Без сознания доставлен в госпиталь.

— Где? Где госпиталь?

Ей указали. Дали машину.

Госпиталь размещался в здании болгарской школы. Рванув дверь, Валя вбежала в приемный покой. Дорогу ей преградила женщина в белом халате.

— Вы к кому?

— К подполковнику Иванову.

— Нельзя. Сейчас нельзя.

— Мне можно. Нужно.

— Кто вы такая?

— Я? — и твердо, как о давно решенном, сказала: — Я — жена.

Медсестра отступила. Молча протянула халат.

Поднимаясь по лестнице, на бегу не попадая руками в рукава халата, Валя подумала, что готова повторить всему свету:

— Жена.

Александр Дмитриевич до рассвета не приходил в сознание, и девушка всю ночь просидела у его постели. Она ушла на дежурство, к радиостанции, когда ему стало лучше и он мог узнать ее и улыбнуться.

Утром медицинская сестра спросила подполковника, кто эта старшина второй статьи, что провела в палате целую ночь. И он, не задумываясь, ответил:

— Жена моя, Валентина.

Свадьба была в болгарском городе Варне, у самого Черного моря.

Представьте себе мирный белый домик в гуще старого фруктового сада. Ветви гнутся под налитыми соком яблоками и грушами. Ласковый морской ветерок колеблет занавески на окнах.

А у палисадника вереница запыленных военных машин. В двери входят десятки моряков. Кителя и мичманки, фланельки и бушлаты. Полевые погоны. Пистолеты в кобурах. У входа — матросы с автоматами.

В гостиной длинный стол без стульев: напрасно ставить, всех не посадить. Гости сдвинулись плотно, как в

парадной колонне. Быстро передают наполненные янтарным вином бокалы, стаканы, жестяные кружки, крышки котелков — все, что удалось собрать.

Невеста в нарядном платье — только утром дошила с помощью подруг. На ладони у жениха — небольшой листок, справка Советской контрольной комиссии о бракосочетании подполковника Иванова А. Д. и старшины второй статьи Линник В. А. Справку эту обменяют в Ростове на форменное свидетельство о браке.

— Горько! Горько!

Шумит короткая фронтовая свадьба. Завтра, возможно, снова в поход. Ведь только осень сорок четвертого года. Будут и трудные бои, и радостная победа. И еще долгая, но так быстро летящая жизнь.

Много раз я бывал в семье Ивановых. Слушал их воспоминания, рассматривал архивы. Посещал их и дома, и за городом, в излюбленной ими «Елочке» на берегу Ревдинского водохранилища.

Но больше всего мне запомнилась встреча у фабрики «Уралобувь», где много лет работал инженером Александр Дмитриевич. Было это накануне праздника Победы.

По бульвару шли трое. Дедушка, бабушка, внучка.

Александр Дмитриевич — в мундире с полковничьими погонами и густой завесой наград. Валентина Антоновна — в морской форме, тоже с орденами и медалями на груди. А посредине, держась за руки, семенила маленькая Варенька, одетая в сшитую бабушкой матросскую блузку с широким бело-голубым воротником, моряцким гюйсом.

Ивановы идут! Представители знаменитой фамилии, на которой, как сказал один из героев романа К. Симонова «Живые и мертвые», — «вся Россия держится».

МИНУТА — ШЕСТЬДЕСЯТ СЕКУНД

1

Дорога была неважной. После оттепели подморозило, асфальт покрылся грязноватым ледком, и наш шофер вел «газик» чрезвычайно осторожно. Порой казалось, что он назло сдерживает машину, которая сама рвется на аэродром. Мы очень спешили. Дело в том, что сегодня утром я услышал необыкновенную, можно сказать, загадочную историю и с нетерпением ждал встречи с ее героем.

В редакцию позвонил мой старый знакомый, военный врач, подозвал меня к телефону и сказал с явной иронией:

— Опять газетчики зевают.

— А что? — насторожился я.

— Ничего особенного, рядовой случай.

— Не томи, выкладывай.

— Да уж ладно,— сжалился доктор.— Все просто и обычно... Парашютист с нераскрывшимся парашютом падал с двух тысяч метров... Н-да... Благополучно приземлился и остался жив-здоров. Представь себе, никаких существенных последствий с медицинской точки зрения.

— Ну?!

— Вот тебе и «ну». Подробностей не знаю, да и вообще ничего толком понять не могу.

— Где? — поспешно спросил я.— Кто?

Врач ответил.

В дороге мы негромко спорили с фотокором Германом, давним товарищем по журналистским поездкам, высказывали разные предположения о том, как спасся парашютист, и составляли «тактический план» предстоящей беседы с ним. Герман ворчал:

— Знаю, ты вцепишься в него мертвой хваткой, а я жди до темноты, когда и снимать нельзя...

— Успеешь. Отдай тебе, два часа станешь его крутить, то в профиль, то анфас. Перебьешься.

Нет, не уступлю фотокору, сначала побеседую сам. Не стану торопиться, разгонюсь — где родился, где крестился, как говорил мой первый редактор, а потом уж, ког-

да наладится беседа, спрошу о прыжке... А вдруг она не наладится, эта беседа?

Наконец-то открылся отрезок свободной ото льда дороги, и водитель прибавил скорость. Слева показалась невысокая ограда, и за ней на расчищенной от снега площадке — длинная шеренга самолетов. То были не современные воздушные лайнеры и реактивные «стрелы», а небольшие, скромные и немолодые машины. По сравнению с гордыми сверхзвуковыми орлами они, в своих брезентовых чехлах, выглядели нахохлившимися воробышками. Но это сравнение было обидным. Маленькие самолеты, близкие родственники фронтовых «небесных тихоходов», добросовестно и честно трудятся и по сей день. На них, например, учатся своему трудному искусству спортсмены-парашютисты.

«Газик» въехал в ворота с зелеными железными створками, на которых светились красные звезды. Мы спрыгнули на дорожку и пошли, разминая затекшие ноги, к аэродромным домикам.

— Где можно найти сержанта Анатолия Мензараря?

— В ангаре или на стоянке, он ведь авиамеханик.

Я знал, что он авиационный механик и к тому же мастер парашютного спорта. Больше о нем ничего не было известно.

Скоро мы нашли его. Он выпрыгнул из кабины небольшого биплана. Мензарарь — как будто молдавская фамилия — оказался рослым, осанистым и, судя по упругим движениям, сильным и ловким молодым человеком. Лицо его было крупным, с чуть тяжеловатым подбородком, втянутыми смуглыми щеками. Глядел он строго, пожалуй, даже сурово. Видать, не больно щедр на излияния. Станешь спрашивать — ответит «точно», «никак нет», или еще излюбленным в авиации словечком «нормально».

Вот и попробуй его разговори.

2

И все-таки он улыбнулся. Мягко, лукаво и, я бы сказал, солнечно. На щеках его вдруг вспыхнули веселые ямочки. Произошло это минуте на пятнадцатой нашей поначалу тягостной беседы. И была на то существенная причина.

Незадолго до встречи с Мензарарем я познакомился

со знаменитым на Урале, да и во всей стране парашютистом Андреем Ивановичем Хуголем. В ожидании квартиры мы довольно долго обитали в офицерской гостинице, обширной комнате, вмещавшей до двух десятков жильцов. И был среди нас подполковник Хуголь.

Он поднимался раньше всех и тотчас принимался будить остальных и выталкивать на физзарядку. «Нечего, нечего,— повторял он, сбрасывая одеяло, а то и хватая за пятку какого-нибудь закоренелого лежебоку.— Нечего, нечего». Мало кто знал, что Хуголь был тяжело и неизлечимо болен, и жить ему оставалось всего несколько лет. Веселый, подвижный и шутливый одессит никому не давал скучать. Затевал розыгрыши, тащил на прогулку, вызывал на разговоры. Любимой его темой был парашютизм и парашютисты. По-моему, он вообще делил людей на тех, кто прыгал с парашютом, и тех, кто не отважился на это. Последних он искренне жалел.

— Неужели ты не можешь прыгнуть хоть разок? — с недоумением спрашивал Хуголь.— Ну попробуй, дорогой, и ты узнаешь, что это такое!

Мы с почтением поглядывали на его крупный значок, на котором было вычеканено число совершенных им прыжков. Помнится, их было более двух тысяч. Рассказывали историю, происшедшую с ним во время войны.

Андрею Ивановичу, уже тогда опытному парашютисту, командование поручило разыскать окруженную немцами нашу воинскую часть. С ней была утеряна радиосвязь, и местонахождение ее было трудно определить. Хуголь совершил ночной прыжок с парашютом и один среди врагов повел поиск. В том-то вся и штука, что молодой офицер управился очень быстро. Собрав сведения у местного населения, он едва ли не за сутки разыскал воинскую часть, пробрался к ней через кольцо окружения и вывел командиров и бойцов в условленное место, где им ударом с фронта помогли пробить брешь в обороне противника и выйти к своим.

Случай этот, оказывается, знал и Анатолий Мензарарь. Ему вообще все было ведомо о подполковнике Хуголе. И когда мы заговорили об этом обаятельном одессите, Мензарарь и одарил меня своей неожиданной солнечной улыбкой.

Да, да, именно Андрей Иванович и перекрестил Анатолия в «парашютную веру», стал его первым учителем. Приметив молодого авиационного механика, усердно

копавшегося в лючках самолетов, Хуголь внимательно оглядел его своими чуть прищуренными смеющимися глазами.

— Здравствуй,— сказал он механику.— Ты откуда будешь?

— Из Молдавии.

— Земляки! А я — из Одессы. Близенько... Прыгаешь?

— Нет.

— Вот и зря. С парашютистами рядом, а прыгать не умеешь. Бе-еда. Хочешь, научу?

— Можно.

— И прекрасно.

На тренировках Хуголь был неутомим и неумолим. Приучал Анатолия к решительности, точности и осторожности, заставлял все делать своими руками: собирать, укладывать парашют, тщательно проверять подвесную систему, защелкивать каждый карабинчик. И не только осторожности ради, нет. Андрей Иванович рассказал Анатолию об одном своем прыжке.

Вместе с другими мастерами спорта Хуголю довелось испытывать новый парашют, автоматически раскрывающийся в воздухе. Первые пробы шли как обычно: в роли парашютиста действовал мешок с песком, который авиаторы величают «Иван Иванычем». Что-то в механизме не сработало, парашют не раскрылся, и груз врезался в землю. Вскоре инженеры отыскали ошибку, заново настроили автоматику, и несколько «Иван Иванычей» спустились вполне благополучно.

И все-таки тяжелое впечатление от неудачи сохранилось. Даже бывалым спортсменам было жутковато.

— Дрожь в коленках,— вспоминал Хуголь,— сухость во рту и вообще мандраж... Однако прыгать надо, причем первому. Как тут быть? И вот что любопытно, у меня появилось желание самому надеть парашют. Техника — в сторону, взялся за дело сам. Влез в лямки, не спеша расправил, стал застегивать карабины, проверять прочность... Работа привычная... Гляжу и успокоился, мандраж прошел. И — прыгнул, как обычно.

О своем учителе Анатолий говорил с радостью, живо воспроизводил его бурные жесты и острые словечки. И я понял, что теперь смогу все узнать о необыкновенном и пока загадочном прыжке сержанта Мензаряя.

3

То был его шестьсот тридцать второй прыжок. Привычно переступив порожек, он оставил борт самолета и окунулся в воздушную пучину. Было мутное, слепое утро. Колючий ветер гнал и крутил струи снега, свистел в ушах. «Раз,— начал он свой счет, падая вниз головой, не видя ни клочка земли, ни даже очертаний огромного города.— Два...» Руки и ноги, послушно распластавшись, выпрямили, приподняли гибкое тело, замедлили падение, и Анатолий поплыл.

Удивительное и прекрасное чувство испытывает парящий в поднебесье человек — гордое чувство беспредельного простора, раскованности, полнейшей свободы. Легкий поворот рук, и ты кружишь стремительно и плавно.

Когда мне случалось рассказывать эту историю ребятам-школьникам, то я замечал, каким восторгом загорались их глаза. Как это соблазнительно и желанно стать воздушным пловцом. Впрочем, поспешил их предупредить:

— Чего доброго... Не вздумайте поплавать, спрыгнув со школьной крыши с маминым зонтиком...

Они захохотали, но глаза их все горели. Что ж, настанет срок и иные из них поплывут по небесным просторам.

...Все еще не видя земли и отсчитывая про себя секунды, Анатолий сгруппировался и пошел в переднее сальто — по заданию он отрабатывал акробатические фигуры. Представьте себе статного, широкоплечего человека, на спине и груди которого навьючены два объемистых парашютных ранца, превратившие его в неуклюжую кубышку, уж он-то никак не похож на изящного и нарядного акробата. Покажи его кувырки на цирковой арене, и номер, конечно, сочтут клоунским. Но в воздухе он, по-моему, выглядит прекрасно, гибкий и ловкий.

Анатолий без передышки выполнил также заднее сальто и на этом закончил сегодняшнюю программу тренировок. Оставалось — с его точки зрения самое простое и легкое — дернуть за кольцо, раскрыть парашют и преспокойно спуститься на землю.

Когда Мензарарь в своем рассказе дошел до этого места, то развел руками и улыбнулся: плавный спуск —

одно удовольствие. Вслед за рывком кольца выскользнет из ранца маленький, словно игрушечный, вытяжной парашютик и, потянув, мигом распахнет цветастое капроновое полотно. Над головой вспыхнет упругий надежный купол, и потекут самые прекрасные, поэтические мгновения, когда не только молодые, но и бывалые парашютисты запевают песни.

Считая секунды, Анатолий рванул кольцо...

Кажется, я наконец-то понял, как надо вести разговор, чтобы понять и почувствовать, что испытал Мензарарь в этом пока таинственном прыжке. Секунды — вот в чем ключ. Как упомянул Анатолий, еще подполковник Хуголь прививал ему чувство времени, учил и неумолимо требовал: мысленно считать секунды. «Ты сам себе секундомер»,— говаривал Андрей Иванович.

Пусть Мензарарь сочтет меня назойливым и настырным, но я стану дотошно расспрашивать его о каждой секунде, проведенной в небе: о чем думал, что переживал, что делал? Только так пойму, вычерпаю все до самого донышка. Я обрадовался своему новому «тактическому плану», даже решился прервать рассказ Анатолия и уступить нашего героя фотокорреспонденту. Но, к моему удивлению, тот не принял столь щедрого подарка.

— Погоди,— сказал Герман, взглянув из темноватого учебного класса, где мы находились, в светлое окошко.— Ага, солнце пока высоко. Давай все же послушаем, что будет дальше... Итак,— повернулся фотокор к парашютисту,— вы взялись за кольцо. И?..

— Да, я рванул кольцо,— продолжал Мензарарь.— Но вместо обычного, такого, знаете ли, плавного, упругого толчка почувствовал резкий и жесткий, словно внезапно повис на бельевой веревке...

Что же произошло?

Анатолий мигом взглянул вверх и увидел, что над ним нет раздольного, наполненного воздухом купола, а на ветру испуганно мечется какой-то дикий извивающийся шлейф. Сразу понял: парашютные стропы захлестнули, опутали полотнище и погасили его.

— Ясно,— сочувственно вздохнул Герман.— Вот теперь — перерыв. Подождем продолжения. Позвольте и мне поработать.

В такую минуту фотокоры решительны и безжалостны. Герман повел сержанта за собой, велев ему как

следует застегнуть комбинезон, надеть шлем и прихватить ранец с парашютом. Уж не заставит ли он его прыгать с крыши ангара? Все может статься...

Меня же мучило нетерпение. Воображая то критическое положение, в котором оказался Мензарарь, я вслед за ним, мысленно, искал путь к спасению. К счастью, в коридоре аэродромного домика мне встретился знакомый майор, командир эскадрильи, и я спросил его: как в такой ситуации должен поступать опытный парашютист?

— Что ему делать? — переспросил майор.

— Да.

— Работать.

— То есть?

— Работать надо, а что еще? Я, знаете ли, теоретизировать не мастак, дозвольте объяснить на примере.

— Пожалуйста.

— С год назад прыгали двое: Мензарарь, а за ним капитан Сахаров. Парашюты были уже распущены, и, чтобы точнее приземлиться, сержант притормозил. Сахаров не успел этого сделать и надвинулся на Мензараря. Тот проскочил шесть строп сахаровского парашюта и оказался, можно сказать, в ловушке. Скорость увеличивалась. Как быть? Резать стропы и уходить? Мензарарь наверняка спасется, но какой ценой? С накренившимся, полуоборванным куполом капитан помчится к земле — и катастрофа. Мигом переглянувшись, они поняли друг друга и принялись за дело. Сахаров до предела натянул стропы — клетка раскрылась, и сержант буквально выкатился из нее. Вот и все. Работать надо.

Я поглядел в окно. Герман тоже работал. Утопая в рыхлом сугробе, фотографировал нашего героя, который с трудом удерживал раздутый буйным ветром парашют, грозящий протащить его по аэродрому и перебросить через забор на шоссе, где фыркали машины.

В класс парашютист вернулся слегка запыхавшийся, с уважением поглядывая на своего мучителя. Видимо, понимал, что постарался ради искусства. Труды с фотокором всех нас еще более сблизили, и Мензарарь охотнее и живее отвечал теперь на вопросы.

Что же он сделал, увидев спутанный стропами беспомощный купол своего парашюта?

Этот вопрос я позже задавал в школе, рассказывая ребятам о необычном прыжке. Девочки промолчали.

Двое-трое мальчиков нерешительно выкрикнули:
— Выпустил запасной.
— Н-да... Подумайте как следует.
Установилась тишина, и с задней парты донесся тонкий голосок самого предусмотрительного парнишки, способного видеть, как хороший шахматист, на несколько ходов вперед:
— Нельзя запасной, нельзя, тоже запутается... Резать надо, резать...
— Правильно.
Действительно, стоило сержанту дернуть кольцо запасного парашюта, что висел на груди, раскрыть купол,— его мгновенно бы взмыл свистящий поток воздуха и обернул вокруг строп основного парашюта, как лиану вокруг ствола дерева. И запасной тоже бы погас.
Разумеется, такой мастер, как Мензарарь, все это четко понимал, а потому, сразу решив обрезать основной парашют, немедля протянул руку к кармашку, где обычно лежал остро отточенный нож.
Но — ножа не было.

4

Как корреспонденту военной газеты, мне нередко приходилось бывать на аэродроме, где базировались реактивные истребители-перехватчики, встречаться и беседовать с авиаторами. Особенно любил я слушать их во время кратких перекуров. Усевшись на скамеечках вокруг бочки с песком, они рассказывали разные интересные истории — и абсолютно правдивые, и совершенно фантастические. Одну из них, которую нельзя подвергнуть сомнению, ибо имелось множество свидетелей, поведал капитан, военный летчик первого класса.
— С год назад,— говорил он,— я вылетел на сложное и, признаться, малоприятное задание. Предстояло катапультироваться на большой высоте с учебного самолета-спарки. Удовольствие, знаете ли, ниже среднего, когда в заоблачных высях открываешь над головой фонарь и тебя в уютной кабине прохватывает ледяной ветер. Но это еще цветочки. Надо нажать на рычаг, и тотчас под мягким местом, извиняюсь, под сиденьем, взорвется пиропатрон, и ты, испытывая многократную перегрузку, вместе с сиденьем выстрелишься прямехонько в стратосферу. А там в полнейшей пустоте, жадно глотая кисло-

род, быстренько отстегиваешь разные защелки, освобождаешься от своего удобного стульчика, дергаешь за парашютное кольцо, а засим, тихо и плавно качаясь, спускаешься к родимой земле.

Все это у меня получилось вполне сносно, я уже плыл под куполом, когда почувствовал некоторое неудобство. Что-то, знаете ли, неправильное происходило с ногами, с сапогами. Мои меховые унты, как их называют дети — «сапоги-собаки», стали энергично сползать. Пока я соображал, отчего сие происходит, вовсе слетели и бомбами устремились вниз. А я остался в одних носочках, как говорят украинцы, в карпетках. Ноги пронзило холодом.

Опустился я в уральскую тайгу, по-здешнему — в парму. Дело было в начале января, морозы стояли крутые, градусов за тридцать...

Понимаете, конечно, что на милой лесной полянке я почувствовал себя несладко. Пропадать моим бедным ноженькам. Спешно искромсал полы меховой куртки, соорудил некое подобие тапочек и по-спринтерски побежал к железной дороге, километра этак три-четыре. Мне здорово повезло — нашел будку путевого обходчика. Когда ворвался к нему, тот не на шутку встревожился. Оказывается, из-за моего высотного гермошлема принял меня за иностранного воздушного шпиона. Вскричал «руки вверх», угрожал молотком и пытался связать. Но потом все разъяснилось. Поглядел на мои замерзающие ноги и проникся жалостью. Он даже подарил мне свои армейские сапоги, которые много лет хранил в сундуке.

Удалось связаться по телефону с железнодорожной станцией, оттуда позвонили на аэродром, и за мной прислали вертолет. Все, как видите, счастливо обошлось. Я даже вернул железнодорожнику его армейскую обувку и ответно преподнес летчицкие унты. И он был доволен.

Но почему все же я оказался в стратосфере в одних карпетках? И бомбардировал землю унтами? Не догадываетесь? А потому, что перед полетом забыл их, как полагается, привязать тесемочками к своим брюкам. Пустячок. Милая, черт ее возьми, рассеянность...

...Вот эту летчицкую историю я и вспомнил, следя за рассказом Анатолия Мензараря.

Выходит, спасительного ножа не оказалось и посту-

пить так, как предлагал по-шахматному предусмотрительный мальчик, то есть перерезать стропы основного парашюта, было совершенно невозможно. Да и в распоряжении парашютиста были считанные секунды.

Потом, недели через две-три, когда спортсмены соберутся в круг на разбор прыжков, к ним приедет Андрей Иванович Хуголь и, вперив в Анатолия испепеляющий взгляд, ядовито, но в мягкой одесской манере скажет:

— А що я услышал? Будто бы в тутошних местах объявился какой-то парашютист-новатор, горячий борец за экономию та бережливость. Он, видите ли, отказался уже от парашютного ножика и теперь собирается на всякий случай оставить дома и свой парашют, а заодно и голову... Та на що такому голова, совсем она ему ни к чему...

И Мензарарь, встав по стойке «смирно», громко отчеканит:

— Виноват.

Но в ту секунду, когда в чехле не оказалось ножа, Анатолий себя не судил, не до того ему было, а тотчас же действовал. И мозг, и руки вместе искали путь к спасению. Пока прорезался только один, дающий, как говорится, шанс из тысячи, и все-таки сержант предпринял малонадежную попытку раскрыть запасный парашют. Дернув кольцо, быстрыми пальцами перехватил выбегающее из ранца скользкое полотнище, стиснул в ладони и сколько хватило сил резким толчком послал вперед, под прямым углом. Может быть, может быть, успеет обмануть ветер, и запасной раскроется, не слившись, не спутавшись с основным.

Не удалось.

Подхваченный бешеным потоком воздуха, шелестящий капрон стеганул Мензараря по лицу, круто взмыл и туго закрутился вокруг перепутанных строп основного парашюта. Теперь над головой в снежных космах, словно бы дразня и издеваясь, вихлялся длинный двухглавый змей.

Чуда не совершилось.

5

В войну многие газеты напечатали заметку о таком удивительном случае. Фашисты подбили наш истребитель. Кабину, летчика, ранец с парашютом охватило

пламя. Израненная машина разваливалась, и из нее выпрыгнул, вернее сказать, вывалился пилот, который уже не мог раскрыть парашют, и камнем полетел к земле. Спасения не было. Но вдруг оно пришло. Летчик угодил на самый скос глубокого оврага, одетого толстым пластом снега, и буквально съехал по нему. Тяжелый удар был, можно сказать, смягчен. Человек сильно пострадал — переломаны кости, повреждены внутренние органы, но остался жив. Военные хирурги сделали все возможное и невозможное, и, помнится, спустя много лет после войны в газете писали, что бывший летчик «практически здоров».

Другой случай произошел в начале шестидесятых годов. Спортсмена с нераскрывшимся парашютом выручили товарищи. Они поймали его. Да, да, поймали на стол — брезентовый полог, на котором укладывают парашюты. Товарищи успели подхватить и растянуть этот полог и приняли на него стремительно падающего спортсмена. Так же спасли и юную девушку-парашютистку.

— А еще,— лукаво подмигнул Мензарарь,— любопытный факт произошел с одним голландцем. Не поверите, но за что купил, за то и продаю. Голландец падал — вроде меня — и угодил прямо на крышу коттеджа, проломил ее, а за ней и потолок и очутился на настоящем столе, сервированном для хорошего обеда,— и Анатолий засмеялся так же заразительно, как его учитель, подполковник Хуголь.

Удивительные истории о парашютистах он рассказал нам, оказывается, не зря: там, на свистящей снежной высоте, все они явились ему, промелькнули в мозгу как стремительный кинофильм, который не измерить секундами.

Людям, пережившим смертельную опасность, знакомы такие мгновенные воспоминания. Когда пикировали «юнкерсы» и оторвавшиеся от них черные бомбы метили прямо в тебя, когда мины и снаряды неслись, завывая, на твой окопчик, то, случалось, в сознании возникал целый рой мыслей и образов из твоего пусть самого коротенького прошлого. Это было нам понятно.

Но что испытал Мензарарь, когда после неудачной попытки раскрыть запасной парашют на миг представил в своем воображении тех чудом уцелевших коллег-авиаторов?

— Вы подумали, что спасетесь? — спросил я.

— Нет,— покачал он головой.— Подумал — не то слово, скорее на секунду, а может, долю секунды почувствовал какую-то смутную надежду...

Парашютист взглянул вниз. Земля была видна, смутно проступая сквозь поредевшие снежные облака, серо-белая, в нежных прожилках дорог, робком пунктире электролиний, с густеющей вдали тенью огромного города. Она неумолимо надвигалась, несла ему верную гибель.

— Я поглядел вниз,— сказал нам Мензарарь,— и слева увидел кладбище. Вот и все, подумал я, и возить далеко не надо...

Падал он на примыкавшее вплотную к аэродрому широкое пахотное поле, покрытое целинным снегом. Даже с двух сотен метров можно было заметить, как глубок и пушист февральский снег. Но разве его мягкая подушка могла спасти парашютиста, который под беспомощно смятыми куполами вот уже почти минуту мчался на пустынное белое поле? Нет, разумеется, нет. И уж мастер спорта, человек, совершивший столько парашютных прыжков, все это отлично понимал. И все-таки он сказал себе, а потом, три недели спустя, повторил нам:

— А я не сломаюсь.

В сотне метров от вспухающей снежной целины Анатолий принял позу. Так поступает акробат в своем прыжке, летчик перед катапультированием с самолета, и конечно же парашютист перед опасным приземлением. Мензарарь подобрал тело, обратившееся в комок мускулов, крепко сжал зубы, втянул щеки, а руки прижал к груди.

Он ждал встречи с землей, считая и считая секунды...

— Больше я ничего не могу сказать,— отрезал Мензарарь.— Ничего. Точно не знаю, что дальше со мною произошло. Предположение — не доказательство. Пусть скажут те, кто видел...

6

На аэродроме готовились к очередным полетам.

Зябко поеживаясь на порывистой февральской поземке, техники и механики тщательно, упрямо сметали с самолетов непрерывно падающие белые хлопья. Зорко за-

глядывая в каждый лючок, осматривали моторы, фюзеляжи и плоскости.

Летчики во главе с комэском изучали полетные задания. Все были поглощены своими делами, когда в высоте отчетливо и громко затараторил знакомый маленький биплан и, оставив в воздухе парашютиста, скромно утихая, пошел на разворот.

На минуту оторвавшись от работы, иные авиаторы пристально вглядывались в небо. Зная Мензараря, они не прочь были полюбоваться его мастерским прыжком, фигурами высотного акробата, плавностью спуска и точностью приземления в загодя очерченный круг.

Но, к сожалению, сквозь густую снежную завесу ничего нельзя было рассмотреть. Только по минувшим секундам можно было примерно определить, что парашютист уже выполнил свои упражнения и теперь спускается к земле.

И вдруг по аэродрому разнесся отчаянный крик.

Как вспоминали потом летчики, кто-то первым увидел вывалившуюся из мутной пелены согнутую запятой крохотную человеческую фигурку, над которой не округлялся привычный их взглядам пышный купол, а тревожно бился длинный, изогнутый вопросительным знаком жгут.

И все, леденея от ужаса, поняли: падение и неминуемая смерть.

Но, люди действия, они не могли чего-то дожидаться, беспомощно медлить, смирившись с неотвратимостью беды.

Тут же загудел мотор дежурной санитарной машины, и она рванулась в открывшиеся настежь ворота.

За ней по бугристому полю, увязая унтами и сапогами в глубоком снегу, побежали летчики, техники и механики.

Они спешили, как будто можно было еще успеть что-то сделать, чем-то помочь, как-то вызволить гибнущего на их глазах товарища.

Этот момент запомнили все, кто мчался по снежным волнам.

Низко, у самой земли, один из скомканных, свитых стропами парашютов внезапно и странно раскрылся. Мощный удар ветра раздул его вбок огромным флюсом. На миг зависнув в воздухе, парашют понес человека по-над белой целиной, а потом поволок по

ней, вспахивая глубокую борозду. Вздувшийся купол тащил Мензараря с полкилометра и вдруг замер, запутавшись в кустарнике, и вскоре сник.

Летчики все бежали, задыхаясь. Они не чаяли увидеть Мензараря живым. Человек упал с неба — о чем тут речь.

С горькой грубоватостью комэск сказал нам: «Я ожидал увидеть мешок с костями. Признаюсь, сердце сжималось от ужаса».

Они не поверили своим глазам, когда увидели, что парашютист совершенно цел. Лежит на спине и улыбается.

— Толька, жив?

Он вздохнул и ответил:

— Угу.

— Что болит?

— А ничего.

Отстегивая лямки парашютов, разрывая комбинезон, авиаторы ощупывали, осматривали товарища и с восторженным удивлением убеждались, что голова, грудь, руки, ноги — все целехонько.

Вот только неяркие синяки, кое-где покрывавшие тело, свидетельствовали об этом необычайном приземлении.

Командир эскадрильи уже вник в смысл случившегося и понял, какое чудо совершил в самые последние секунды спасительный порыв ветра.

И все же разум отказывался поверить в то, что видели глаза, да и нельзя было до конца уверовать в такое удивительное, просто волшебное избавление...

Командир приказал немедленно отправить сержанта Мензараря в госпиталь для полнейшего обследования. Санитарная машина помчалась в город.

В военном госпитале, а потом в специальном травматологическом институте опытнейшие врачи, собрав целый консилиум, основательно обследовали Анатолия Мензараря.

День за днем продолжались скрупулезные осмотры, анализы, рентгеновские снимки. С медицинской точки зрения все было в полном порядке, как и сообщил мне оказавшийся знакомым врач.

В конце концов Анатолия признали совершенно здоровым и разрешили и впредь заниматься парашютным спортом.

Ровно через две недели после своего необыкновенного падения с высоты в две тысячи метров мастер спорта Мензарарь совершил свой очередной, шестьсот тридцать третий по счету парашютный прыжок, находясь при этом в отличной спортивной форме и, как всегда, в хорошем расположении духа.

Вот, пожалуй, и вся история о чуде, случившемся неподалеку от нашего уральского города. Но мне хочется завершить рассказ об одной минуте из жизни парашютиста теми словами, которые сказал, прощаясь с нами, командир эскадрильи:

— Ни себе, ни вам, никому не желаю попасть в такую переделку, как наш сержант, но уж если это случится, то держаться надо так, как он, Анатолий Мензарарь.

Эти слова я и повторил ребятам в школе.

ВОЗДУХ АЭРОДРОМА

1

По военному аэродрому гуляет весеннее солнце. Ласкает темно-серый паркет бетонки, и сдержанный, строгий ее цвет смягчается и оживает. Повсюду свежие, сочные, веселые краски. Дует бойкий теплый ветер. Из недальнего соснового бора выносится терпкий смоляной дух и врывается на летное поле, где пахнет нагретым бетоном, резиной, металлом, керосином.

Воздух аэродрома! Эти слова я услышал в одну из многочисленных поездок к военным авиаторам.

Было это так.

По летному полю, точней, по рулежной дорожке шагали двое. Один был привычен для здешних мест: военный летчик, экипированный для очередного полета — в эластичном противоперегрузочном костюме и белом подшлемнике, с прицепленным к поясу пластмассовым гермошлемом. Он явно придерживал шаг, чтобы не обогнать своего спутника. А тот — сухонький, сутуловатый старичок, одетый не по сезону — в черное пальто на вате, барашковую шапку с кожаным верхом, семенил поспешно за молодым, крепко сбитым летчиком.

Спутники оживленно беседовали, хотя разговор вели не совсем обычный. Слов употребляли мало, зато горячо и быстро жестикулировали. Их руки то плавно, медлительно поднимались, то резко взмывали и крутились в сложных фигурах, то стремительно падали. Энергичные жесты, несомненно, обозначали взлеты самолетов, подъемы на головокружительную высоту, смены курсов и всякого рода маневры — горки, петли, пикирования и кобрирования. Собеседники изъяснялись выразительным и точным языком бывалых пилотов.

И вдруг в самый разгар их беседы молодой остановился и, заботливо оглядев старика, сказал:

— Николай Игнатьевич, дорогой, совести у меня нет, я вас совсем загонял. Устали, поди? Пойдемте в эскадрильский домик, посидим, отдохнем немного...

Словно споткнувшись, старик замер на месте, окинул летчика сердитым взглядом:

— Извините, товарищ майор, из-вините, но мне кажется, что вы стараетесь меня спровадить с летного

поля. А я вовсе не устал. Нет-с, именно здесь мне хорошо и даже прекрасно, и я отдыхаю душой. Поймите же наконец, я дышу воздухом аэродрома!

— Понял, понял,— улыбнулся офицер,— что ж, отправимся дальше, посмотрим, как взлетают наши истребители.

— Вот и отменно,— потеплел старик.— Пошли.

И они зашагали к дальнему краю бетонки, где стоял готовый к полету сверкающий в лучах солнца боевой самолет.

О чем они говорили теперь, что изображали жестами, я не слышал и не видел. Но думал о них, потому что знал обоих, хотя и познакомился с ними в разное время и при различных обстоятельствах.

2

Николай Игнатьевич сам пришел в редакцию. Сухонький, стройный, в тщательно отутюженном темном костюме, он тихо вошел в комнату, поздоровался и отрекомендовался:

— Потеряев.

— Слушаю вас.

— Это вы намедни выступали по телевизору и обращались ко всем, кто знавал героя гражданской войны Ширинкина Алексея Дмитриевича?

— Да, я... Садитесь, пожалуйста...

— Спасибо, я ненадолго... Посмотрите только это,— старик мягко положил на стол толстый старинный альбом с латунными застежками.

Я раскрыл его и на первой же странице увидел знакомый портрет темно-русого молодого человека в галифе и френче с накладными карманами. На заднем плане виднелся странный, на нынешний взгляд, хрупкий самолетик, казавшийся игрушечным. Подпись гласила, что снимок сделан в 1916 году и опубликован в журнале «Нива» под заголовком: «Русский герой, летчик-истребитель Алексей Ширинкин».

С любопытством я листал альбом, находя все новые и новые фотографии удивительного человека, о котором мне много рассказывал его земляк и биограф уральский краевед Михаил Николаевич Колпаков. Он же показал мне статью в журнале «Красная Нива» за 1923 год, в которой было сказано:

«Тов. А. Д. Ширинкина можно смело назвать шеф-пилотом РСФСР. Смелый, решительный, отважный летчик-истребитель популярен в авиационных кругах как никто. Своими героическими победами в воздухе он вписал в историю Красного Воздушного Флота ряд памятных и ценных страниц.

Действия эскадрильи Ширинкина, всегда имевшей во главе своего героя-командира, совершенно парализовали работу вражеской авиации, отбив охоту у ее летчиков производить разведку Красной Армии». За боевые подвиги, сообщалось в статье, Алексей Дмитриевич был награжден двумя орденами Красного Знамени.

На последней странице альбома была аккуратно приклеена сероватая полоска плотной бумаги с выцветшим чертежиком и цифрами. Под ними виднелся крупный и твердый росчерк — собственноручная подпись Алексея Ширинкина.

— Что это?

— Задание на мой первый полет.

— Значит, вы...

— Я ученик Алексея Дмитриевича.

И Потеряев стал прощаться. Сколько я его ни упрашивал, он не согласился задержаться.

— Нет-нет, не смею отрывать драгоценное время... Когда-нибудь в другой раз, на досуге. А альбом вы еще посмотрите, может, что и пригодится...

Понимая, что место этим снимкам в музее авиации, я с жадностью и восторгом рассматривал их. Авиаторы в кожанках и френчах, в шинелях с «разговорами» стояли у летательных аппаратов начала века — «фарманов» и «ньюпоров», «сопвичей» и «блерио», на которых пилот был открыт всем ветрам, сидя на своем зыбком стульчике под фанерными, обтянутыми полотном крыльями. Конечно же, думал я, непременно еще встречусь с Николаем Игнатьевичем и как следует разговорю, расспрошу, узнаю все о его жизни. Так я думал. Но известно, что иным благим намерениям не суждено сбыться, и не единожды в суматохе редакционных и домашних хлопот не удавалось доискаться, докопаться до такой замечательной человеческой судьбы. И теперь такое запросто могло повториться. Откладывал бы на потом, до удобного случая, и пропустил бы, прозевал драгоценную встречу.

Но на этот раз мне просто повезло.

3

Воскресным утром я отправился на пешеходную прогулку вокруг пригородного озера. Вода была прозрачной и свежей, еще не тронутой зеленой ряской. А берега, как всегда, удивительные: тут тебе и монументальные уральские сосны, и ласковые подмосковные березки, и прямо-таки крымский песчаный пляж, и еще один пляжик, покрытый маленькими, надутыми ветром дюнами, с тремя сосенками, напоминающий Прибалтику. До него я и добрался, шагая у самой тихо плескающейся воды, когда услышал странную песенку. Где-то впереди, за кустами, пел надтреснутый, но приятный старческий голос:

Ты лети, моя бебешка,
На лице моем усмешка...

Я ускорил шаги. Что это за смешная «бебешка»? Идущий впереди все напевал:

Я совершаю ранверсман,
Перехожу на иммельман...

Ага, это авиационное, вычитанное из книг или схваченное на аэродроме. На берегах пригородного озера, где гремят вездесущие «маги» и транзисторы, таких песен никто не слыхивал.

Вскоре я догнал человека, который, заслышав мои шаги, умолк. В сухоньком, легконогом старичке я сразу узнал Николая Игнатьевича Потеряева. Он был облачен в пиджачок и тренировочные брюки, кепочка его была повернута козырьком назад. Худенькие руки энергично поднимались и опускались, словно крылья, ноги в кедах пританцовывали. Он словно бы стремился взлететь. Вспомнив песенку, я подумал: может, действительно он воображает себя в полете. Признаюсь, хотелось еще понаблюдать Потеряева наедине с самим собой, но он уже обернулся и ничего другого не оставалось, как поздороваться:

— Здравствуйте, Николай Игнатьевич.

— Здравия желаю,— он было смутился, повернул кепочку козырьком вперед, морщины на оливковом от загара лице туго стянулись. Но тотчас же улыбнулся: — Ладно. Слышали, поди, мой вокал. Отнюдь не Шаляпин?

— Прекрасно. Но скажите, пожалуйста, что такое «бебешка»? Что-то забавное?

— Отнюдь нет. Это аэроплан марки «фарман». Его, знаете ли, мы шутейно так называли. А ранверсман и иммельман,— с удовольствием пояснил он,— это фигуры высшего пилотажа. К примеру, последний представляет собой переворот аэроплана на сто восемьдесят градусов. Видите ли, вот так,— Потеряев крутанул рукой замысловатую загогулину,— машина описывает половину петли и оказывается вверх колесами, а потом уже выводится в нормальное полетное положение.

Как же, подумал я, ему и теперь хочется летать!

Время и обстановка для нашей беседы оказались самыми благоприятными. По дороге к пляжу Николай Игнатьевич разговорился, и я вместе с ним совершил «беспосадочный перелет» почти на пятьдесят лет назад, в его молодость.

Уроженец города Перми, Николай Игнатьевич Потеряев в 1916 году с берегов Камы переехал на невские берега и поступил в питерскую «технологичку» — технологический институт. Но учился недолго: его завлекла авиация, он, как говорится, спал и видел: полеты, полеты, полеты.... Студент-первокурсник оказался на так называемом Комендантском аэродроме, расположенном на городской окраине, где занимались курсанты Добровольческого аэроклуба, и принялся изучать самолет. Там Николай и встретился с Алексеем Ширинкиным, земляком-уральцем. Они быстро подружились. Правда, Потеряев был еще новичком и ни разу не поднимался в воздух, а Ширинкин к тому времени был одним из известнейших в России пилотов. На Невском проспекте, в Гостиных рядах, можно было купить цветную открытку с его портретом и подписью к нему: «Русский асс Алексей Ширинкин». (Слово «ас» в ту пору писалось через два «с».)

Мы устроились на прогретом песчаном пригорке у самой воды, и Николай Игнатьевич пристально оглядывал зеленовато-синюю солнечную гладь озера, а мне представилось, что видел он утреннюю, росистую траву давнего Комендантского аэродрома и на ней — маленький, по нынешним понятиям, самолетик-биплан, о котором один из старейших русских летчиков сказал, что он был похож скорее на клетку для канарейки, чем на авиационное детище.

Теперь уже и я представлял себе худенькую мальчишескую фигурку Потеряева, замершую на крохотном сиденьице, перед открытым, громко стучащим и кашляющим мотором. Николай Игнатьевич облачен в комбинезон и кожаный шлем, из-под которого ветер выбивает легкие пряди волос. И почему-то вспомнилось начало его песенки:

Я — смелый питерский пилот,
Я отправляюсь в полет...

Быть может, про себя он и напевал эту бойкую песенку. А в дрожащем мареве возмущенного пропеллером воздуха стоял широкоплечий крепыш Алексей Ширинкин и ободряюще улыбался Николаю: давай, дерзай.

Стремительный разбег, и сглаживается травяной ворс летного поля, обращаясь в изумрудную, словно бы озерную гладь. И внизу, под крылом, остаются ангары и дома, в нитку вытягивается железная дорога с поездом, будто бы составленным из спичечных коробков, и в тонкий изгибистый ручей обращается широкая Нева.

Он летит, вдыхая упругий, рвущийся навстречу воздух. Ему еще не до иммельманов и разных там сложных фигур, он просто плывет по прямой над огромным городом и, покачиваясь вместе с «бебешкой», видит тонюсенькую, сверкающую золотом иглу Адмиралтейства, школьную линейку Невского проспекта и округлый, гордый шлем Исаакиевского собора. Душа поет:

Ты лети, моя бебешка,
На лице моем усмешка...
И выполнив весь ряд чудес,
Рисую в небе букву «S».

— Заметьте,— сказал мне Николай Игнатьевич, неотрывно глядя на озеро,— заметьте, буква «S» — латинская, такая, знаете ли, замысловатая, форсистая фигура,— и узкой ладонью вычертил ее.— Вот такая.

В тот, первый в жизни самостоятельный полет он, разумеется, не рисовал в небе ни латинских, ни славянских букв, хотя и испытал первые в жизни чудеса — поющую радость парения в высоте, свободу и бескрайний простор голубого неба. Подлинные же чудеса и бурные переживания испытал он позже, когда стал профессиональным пилотом и вместе со своим учителем и

земляком Алексеем Ширинкиным вступил в один из авиационных отрядов молодого Красного Воздушного Флота.

4

С Геннадием Гусевым я познакомился раньше, чем с Николаем Игнатьевичем, причем сначала заочно: летчик находился в воздухе, а я на земле, точнее, под землей.

...Вокруг — глухие бетонные стены, увешанные многоцветными топографическими картами, схемами; стеклянные матовые табло, панели радиостанций, репродукторы громкоговорящей связи. На широченном столе раскинулась скатертью штурманская карта, расчерченная яркими фломастерами.

Из соседних помещений доносится приглушенный стук телетайпов и телеграфных аппаратов. За прозрачной плексигласовой перегородкой виднеются фигуры молодых солдат, склонившихся над круглыми, как корабельные иллюминаторы, экранами локаторов. В центре бетонного зала во вращающемся кресле сидит пожилой полноватый полковник, окруженный немногословными офицерами. Время от времени гудят вентиляторы, втягивая смолистый воздух из сосновой рощи, под которой и залег подземный командный пункт, шутливо именуемый авиаторами «пирогом с начинкой».

Идут воздушные учения.

Я немного знаком с обстановкой. Где-то еще далеко-далеко, над сизыми дождевыми тучами, ревут самолеты-бомбардировщики. Невидимые с земли, они спешат, рвутся к нашему городу, чтобы сбросить на него страшный груз. Хоть и понимаешь, что это учение, а не настоящий бой, все же на душе становится тревожно. Вспоминаешь войну. Где наши истребители? Сумеют ли они вовремя подняться, отыскать в плотных, набрякших дождем облаках самолеты «противника», перехватить их и атаковать?

Кто может ответить на эти вопросы?

Конечно же, экраны локаторов. Спешу к одному из них, вглядываюсь в его чуть выпуклое стеклянное «оконце». Что же там видно?

Плывут маленькие облачка, тусклые, загадочные, а в них острым проколом движутся точки — одна, вто-

рая... Ага, это воздушные цели, самолеты «противника». Прислушиваюсь к докладам, командам. Называют высоту, скорость, дальность... И вдруг выхватываю голос штурмана:

— В воздухе капитан Гусев.

Как на фронте: «В воздухе — Покрышкин», «В воздухе — Кожедуб...»

Здесь, в подземелье, не увидишь и не услышишь, как с бетонки аэродрома взмыл остроносый, стремительный истребитель и, оглушив ревом турбин окрестности, набрал высоту, обратился в черную точку, исчез из глаз. Можно только представить себе, как в кабине самолета сосредоточенный, энергичный пилот прислушивается к звучащим в шлемофоне командам с земли, вглядывается в приборы.

Это можно только вообразить. Но вот на самом срезе голубоватого экрана среди таинственных пасмурных облачков возникает новая точка.

— Гусев?

Солдат-оператор кивает головой:

— Да.

Точка медленно сближается с той, другой, обозначающей самолет «противника». Это на экране медленно, а в небе истребитель со сверхзвуковой скоростью разрывает облака. Точки сближаются. Теперь, несомненно, и Гусев на экране своего бортового локатора видит «неприятеля». Да, конечно.

— Цель вижу, атакую! — динамик доносит его радостный возглас.

Точки сомкнулись и, словно оттолкнувшись, брызнули в стороны.

Гусев атаковал бомбардировщик. Будь то настоящий бой, он послал бы во вражеский самолет огненную ракету, а сейчас лишь включил фотопулемет, зафиксировавший точность его удара.

Прошли десяток-другой минут, и я услышал будничнo сказанное штурманом:

— Гусь прилетел.

В тот же день увидел его на земле. Немного выше среднего роста, плечистый, с чуть удлиненным лицом и крупным с горбинкой носом — действительно чем-то напоминал гуся. Видимо, это обстоятельство вместе с фамилией и страстным увлечением охотой и припечатали ему прозвище.

— Гусь прилетел.

После я много раз наблюдал его взлеты и посадки. следил за дальними перелетами и перехватами — то в стратосфере, то низко над землей — и оценил высокое мастерство и храбрость этого военного летчика.

Они шагали по весеннему аэродрому, продолжая оживленно жестикулировать, и, не дойдя до нетерпеливо ревущего истребителя, свернули влево и поднялись на стартовый командный пункт, в «шахматный домик». Из его светлого, со стеклянными стенками зальчика было видно далеко окрест. Отчетливо просматривались и стоянка истребителей, вокруг которых теперь хлопотали механики и техники, и зона заправки, где из серебристых цистерн поили самолеты горючим, и шуршащие по полю автомобили-тягачи, и причудливая рощица локационных и радийных антенн, даже белокаменный городок, в котором жили и учились авиаторы. Со стартового командного пункта хорошо было видно, как, вздрогнув, ринулась вперед боевая машина, с львиным ревом пронеслась по бетонке и плавно взмыла в небо.

Старый и молодой пилоты проводили ее глазами. А я подумал: о чем же они станут говорить теперь? Сравнивать былое и нынешнее, вспоминать полеты? Наверное. А может статься, они расскажут друг другу о тех тягостных и очень похожих испытаниях, что они пережили с разницей в сорок с лишним лет? Нет, конечно, нет. Промолчат. Мне известно, что оба не любят говорить о себе.

Ладно. Об этом знаю я и потому должен рассказать.

5

— От винта.

— Есть от винта.

— Контакт.

— Есть контакт.

Механик-красноармеец взмахнул флажком и остался позади, за вздрагивающими крыльями. Подпрыгивая на травянистом, кочковатом поле, «фарман» взял разбег. То был старенький, видавший виды биплан. Плоскости, хрупкий фюзеляж, стабилизатор и руль были

обтянуты заплатанной и потертой перкалью. В тесной, открытой всем ветрам кабине, чуть пригнувшись, сидел молодой военный летчик Николай Потеряев.

Шло лето 1919 года. Недавно выбитые из Перми колчаковцы спешно откатывались к Екатеринбургу, и аэроплан Потеряева был послан с заданием разведать, а коли удастся, и бомбардировать вражеские колонны, желательно конницу и артиллерию.

Тарахтел, жалобно постанывал износившийся мотор, ветер гудел в тягах, хлопал надорванной обшивкой: самолет парил еще над окопами мировой войны.

Ты лети, моя бебешка,
На лице моем усмешка.

Внизу пластался, пробиваясь через поля, леса и перелески, Сибирский тракт. Летчик-наблюдатель заболел сыпняком и, военлет Потеряев был один в двух лицах, а потому особенно зорко следил за серо-желтой лентой дороги. Пока что попадались лишь мелкие группы беляков, ползли, завивая пыль, одинокие фуры. На них жалко было тратить пяток бомбочек и десяток гранат, весь его боезапас. Вот если бы кавалерия... Наконец-то Николай отыскал и ее. По тракту растянулся идущий усталой рысью конный эскадрон. Потеряев заложил вираж, и «фарман» с ревом понесся к колонне. Напуганные кони дыбились, всадники едва держались в седлах. «Вы у меня поскачете».— И Николай сбросил сразу две бомбы и несколько гранат. В гуще сбившихся кавалеристов грохнули взрывы.

Еще заход.

Развернувшись, он завис над дорогой и, высунувшись из кабины, метал гранаты и бомбы, а в это время у земли сверкнуло синеватое пламя пулемета. Аэроплан, как живое существо, отозвался на удары, затрясся, послышался треск рвущейся обшивки. «Попали».

«Фарман» накренился, потянул вправо. Николаю на минуту удалось выровнять машину, но позади раздался резкий звук лопнувших струн. Порвались поврежденные пулями приводы руля. Кренясь и дрожа, аэроплан, как слепой без поводыря, поплелся над дорогой. Потом клюнул носом и повалился на левый борт. По укоренившейся привычке Николай определил расстояние до земли: сорок метров... сорок метров.

Уши забил свист и треск. Удара он не воспринял и после не помнил.

Очнулся Потеряев в госпитале, и первая застрявшая в мозгу мысль была: сорок метров. Она и возникла в сознании.

— Живого места на мне не было,— рассказывал старик, пристально вглядываясь в озерную гладь,— руки, ноги, ребра переломаны. Чудом остался жив. Как понимаю, моя «бебешка» все же трахнулась на колеса, самортизировала, говоря по-нынешнему, а то был бы мне каюк, как говорили прежде...

Он лежал на узкой солдатской койке, весь в задубевших лубках, и думал тяжкую думу.

Когда над ним склонился военный врач, Потеряев спросил:

— Доктор, я буду летать?

6

Более сорока лет спустя в том же самом уральском городе, куда после падения аэроплана попал Потеряев, и, как я не без основания полагаю, в том же самом госпитале на койке лежал молодой летчик Геннадий Гусев. И когда он пришел в сознание, то спросил врача:

— Доктор, я буду летать?

И оба они — Потеряев и Гусев — услышали один и тот же ответ:

— Жить — будете, а летать — нет.

С Гусевым случилось несчастье.

Поначалу все шло прекрасно. Упорным трудом добился он права управлять новым реактивным сверхзвуковым истребителем и совершил первый полет, который сложился как хорошая песня. Возбужденный удачей, он вернулся домой и долго еще обсуждал с соседом-летчиком все перипетии дневного вылета. Заснул лишь под утро.

— Тревога! Тревога! — услышал он сквозь сон голос жены. Мигом поднявшись, спешно надел меховой комбинезон и выскочил на улицу. Подрагивая на ядреном морозе, с шага перешел на бег: скорее, скорее на аэродром. И вот кстати: рассекая предутренние сумерки ярким светом фар, из-за поворота вывернул автомобиль-топливозаправщик. Гусев поднял руку:

— Стой! — И торопясь, не дождавшись, когда оста-

новится тяжелая машина, прыгнул на подножку, покрытую наледью. Ноги соскользнули, рука сорвалась с борта, и он упал под колеса.

Понимаю, что это совершенно невероятно — явная выдумка, вольный полет фантазии, но когда бываю в старом уральском военном госпитале, массивном здании, неизменно выкрашенном в желтый цвет, то представляю себе, что они лежали рядом — Николай Игнатьевич и Геннадий Гусев. Вот так — по-соседству, в тесноватых палатах с высокими потолками и просторными окошками, выходящими в густой, тенистый парк.

Надо же такое вообразить, ведь истории этих двух пилотов разделяет едва ли не половина столетия, да и обстановка прифронтового госпиталя времен гражданской войны с его совершенной бедностью, застиранными тряпицами вместо бинтов, слежавшимися соломенными тюфяками, едким запахом карболки, скупыми ложками ячневой каши нисколько не напоминает современный военный госпиталь с его стерильной чистотой, блестящей медицинской аппаратурой и тонкими запахами лекарств.

И все же не зря порою кажется, что старый и молодой пилоты провели свои самые трудные дни вместе.

— Жить будете, а летать — нет. Да-с, множественные переломы — это вам, сударь, не шутка-с,— говорил, поблескивая стеклами пенсне, сухопарый седой доктор.— Никаких движений, боже упаси. Косточки должны срастись точка в точку-с. Полнейший покой.

Эх, какой уж там покой! Он все еще чувствовал себя в полете, руки лежали на штурвале, нога давила педаль, в ушах звенел гул мотора, и незабвенная «бебешка» парила в яркой голубизне.

Закованный в гипсовый панцирь, Николай неделями терпел мучительную неподвижность и младенческую беспомощность. Не моги, ничего не моги — даже повернуться с боку на бок. Время от времени это помогала сделать сестра милосердия. В шуршащем черном платье и ослепительно белой косынке, молодая женщина входила в палату и, невольно заставляя Николая заливаться краской стыда, обихаживала его, как малого ребенка. Он отводил глаза от ее молодых глаз и шептал:

— Спасибо, сестричка.

Измученное гипсовым пленом, давно не мытое тело ныло и чесалось. Обрыдел бесконечный суп из воблы и жиденькая водянистая кашица, но он все переносил молча, не жалуясь, с неизбежной надеждой ждал поправки, верил в нее. Пришел месяц, когда ему освободили руки. Непослушные и слабые, словно чужие, они едва поднимались над тюфяком, когда сестра милосердия, сияя улыбкой, принесла ему две поржавевшие ручные гранаты. Николай с недоумением взглянул на нее:

— Зачем?

— Гимнастика,— твердо сказала она.— Будете упражняться и набираться сил. Вы же крепкий мужчина, Николай.

— Ясно.

Гранаты-бутылки, конечно без запалов, страшно его обрадовали. Он тотчас попытался их поднять на вытянутые руки, но едва удержал.

— Не сразу, не сразу,— сказала сестра.

И теперь по нескольку раз в день он упражнялся с гранатами, и они двигались над его головой все легче и быстрее: вверх — вниз, вверх — вниз...

Почти пятьдесят лет спустя молоденькая медицинская сестра — инструктор лечебной физкультуры — принесла в палату, где лежал Геннадий Гусев, пару новеньких, глянцевито-черных гантелей.

— А ну-ка попробуем,— улыбаясь, сказала она,— начнем потихоньку: вверх — вниз, вверх — вниз...

Это произошло через полтора месяца лечения. А поначалу было вот что. Над госпитальной койкой медики воздвигли металлические столбики с перекладинами на манер спортивных брусьев. На них натянули брезентовый гамачок, который провисал на высоту ладони от матрацев. В него бережно уложили Геннадия. Хирург — подполковник, человек решительный и резкий, не считал нужным скрывать от капитана Гусева его перспектив:

— Жить, ходить — будете, а летать — нет. Поняли? У вас закрытые множественные переломы тазовых костей. К чему это ведет? Длительное лечение, мучительные для больного процедуры. Последствия? Если все пройдет удачно, то сможете ходить. А пока приказываю лежать неподвижно, чтобы кости срастались тютелька в тютельку. Ясно?

Сорок дней и ночей Геннадий неподвижно висел в опостылевшем ему гамаке, старался не шелохнуться, пребывая в «положении лягушки», как, бодрясь, говорил он. И не зря долго и истово терпел: медики предполагали, что висеть ему в «люльке» целых два месяца, а Геннадий управился за сорок дней. Всего лишь за сорок.

— Освобождаю вас досрочно,— улыбнувшись, сказал суровый доктор.— Дела, несомненно, идут на поправку. Осталось самое легкое. Месяца через три встанете с постели, будете ходить с двумя костылями, потом с одним. Затем с палочкой... Не стану скрывать, хромота останется.

Геннадий глубоко ценил опытнейшего и заботливого врача, который сделал для него все возможное, но в душе не соглашался с ним. Не легкое, а самое наитруднейшее дело было впереди. Если бы только научиться передвигаться, даже бегом бегать, а то ведь надо было добиться права на полеты. Летать. Сказал же он сдержанно, о самолетах пока не упоминая:

— Шагать буду через два месяца, а не через три — и без костылей.

В ту пору и принесла ему медицинская сестра пару новеньких гантелей. И пошло: вверх — вниз, вверх — вниз... Когда окрепли руки, Геннадий принялся тренировать ноги. Он медленно развивал пальцы, бесконечное число раз поворачивал стопу, осторожно сгибал колени. Тотчас возникала резкая, невыносимая боль, и, когда становилось совсем невмоготу, он в досаде и ожесточении колотил кулаком в стенку. На ней даже образовалась вмятина. «Пары выпускаю»,— оправдывался Геннадий. Осмелев, подтягивался на спинке кровати и пытался выполнять «ножницы» и «преднос», которые прежде на турнике и брусьях делал играючи.

Минуло пятьдесят с лишним суток, прежде чем Гусев робко спустил ногу на зыбкий, как корабельная палуба, пол. Опершись, осторожно поставил другую и на несколько секунд оторвался от кровати. Он стоял, да, сам, без поддержки стоял.

7

В старом госпитальном парке, зеленом, тихом островке среди гомонливых улиц большого города, оба летчика заново учились ходить. Надо полагать, что высокие

дуплистые тополя, которые живут и поныне, видали, как худенький молодой человек в нательной рубашке и широченных галифе, опираясь на костыли, а потом на посошок, ковылял по утоптанным песчаным дорожкам. А через десятилетия по тем же дорожкам, постукивая бамбуковой тростью, переваливаясь уточкой, шагал другой молодой человек в синем «олимпийском» костюме и легких кедах.

Прошли долгие недели, и оба пилота дали решительную отставку своим деревянным помощникам и день ото дня все ровнее и быстрее зашагали исхоженными путями, даже подпрыгивая и поскакивая, размахивая руками, а со временем дерзнули и побежали во всю прыть. Еще с военного училища втянувшийся в спорт, Гусев каждое утро подолгу тренировался в зале лечебной физкультуры, карабкался на гимнастическую стенку, подтягивался и крутился на турнике, толкал штангу, а в парке, невзирая на размеренно гуляющих больных, делал стойку на руках и другие лихие акробатические фигуры. Он-то отлично знал, что все это в самом ближайшем будущем ему очень и очень пригодится.

Если бы действительно существовала пресловутая машина времени и ее чудодейственной силой можно было бы сблизить события разных десятилетий, то на тенистых дорожках госпитального парка вполне могла произойти встреча двух пилотов.

— Вы кто? — с любопытством спросил бы, допустим, Геннадий Гусев.

— Я красвоенлет авиационного отряда Восточного фронта Николай Потеряев.

— Военлет? Значит, летчик?

— Так точно. А вы?

— И я военный летчик-истребитель капитан Гусев.

— Выходит, мы коллеги. Очень приятно, будем знакомы.

Увы, как нет сказочной машины времени, не было и быть не могло этой необычайной встречи. Но правда — в схожести судеб, в том, что оба русских пилота, проявив необычайное мужество и волю, добились заветной цели: вернулись в небо. А позже — и встретились.

8

Поздней осенью 1919 года Николай Игнатьевич Потеряев, убедив довольно сговорчивых в ту пору врачей, продолжал летать. К своей величайшей радости, он попал в эскадрилью (тогда ее именовали «эскадрой»), которой командовал его друг, учитель и земляк Алексей Дмитриевич Ширинкин. Воздушная эскадра сражалась против белогвардейцев-деникинцев, а в 1920 году против белополяков.

Как и следовало ожидать, возвращение Геннадия Гусева к полетам оказалось куда более сложным и трудным. Оно заняло целый год.

Побывав в крымском санатории, окрепшим и бодрым предстал Гусев перед первой медицинской комиссией. Пожилая женщина-хирург осмотрела его с привычной обстоятельностью и зоркостью. Она была довольна результатами и заключила:

— Вполне, вполне здоров. Так и запишем: «Годен к полетам в реактивной авиации — без ограничений...»

То была высшая оценка, полнейшее «добро» — и перед Геннадием отчетливо замаячил его стреловидный истребитель. Но прежде чем сделать запись в медицинскую книжку, врач заглянула в историю болезни капитана Гусева и тотчас глаза ее округлились:

— Как? П-позвольте,— проговорила растерянно.— Да у вас же была тягчайшая травма: множественные переломы костей таза... Нет-нет, никак не могу сделать окончательное заключение... Мало ли что может с вами случиться в воздухе. Нет...

И она отослала летчика к другим врачам-специалистам. Те дружно восхищались его налитыми мускулами, стройностью и гибкостью, тем, как поразительно быстро и точно срослись кости, но, невзирая на просьбы и мольбы капитана, не соглашались на его службу в реактивной авиации.

— Мы не можем поручиться, что вы выдержите напряжение полета, большие перегрузки, что вы сохранили былую реакцию... В легкомоторной авиации служите — пожалуйста, а в реактивной, сверхзвуковой — нет.

В истребительном полку уже знали о печальных выводах медицинских комиссий. Товарищи и командиры горячо сочувствовали Геннадию, но ничем не могли помочь. Через медицину не перешагнешь. По определе-

нию врачей, Гусева следовало списать, перевести в другую часть, где самолеты попроще и управлять ими полегче. Однако же командир полка, бывший фронтовой летчик-истребитель, не торопился с окончательным выводом.

— Бороться — так до конца,— сказал он.— Что вы намерены предпринять?

— Хочу поехать в Москву, в главную врачебно-летную комиссию. Буду добиваться.

— Правильно,— одобрил командир.— Разрешаю.

Снабженный отличными характеристиками, но без направления врачей Гусев прибыл в столицу. Твердым шагом вошел он в кабинет начальника комиссии и представился полковнику медицинской службы. Коротко объяснил, в чем суть дела.

— Собственно говоря,— пожал плечами полковник,— у вас и направления-то нет. Н-да... Значит, множественные переломы! И отлично срослись? Н-да. Ну что ж, попробуем, ложитесь на обследование. Только предупреждаю — скидок не будет.

Скидок действительно не было. Около месяца колдовали над Геннадием врачи. Их удовлетворяла и недюжинная сила молодого летчика, и прекраснейшие результаты медицинских анализов и проверок, и ловкость, с которой тот исполнял свои акробатические этюды — Геннадий старался вовсю и показал врачам полную программу,— от стойки на руках до сальто...

— Превосходно,— заключил начальник комиссии.— Однако полной уверенности нет. Перегрузки, давление на высоте — как вы их выдержите? Нет и нет.

— Прошу испытать меня еще.

— Ладно,— согласился полковник.— Проверьте его в центрифуге и барокамере...

И вот новый, решающий экзамен. Специальный аппарат заставил молодого летчика вращаться с большой скоростью, и он свободно вынес шестикратную и восьмикратную перегрузки, убедив недоверчивых врачей. В барокамере Геннадий уверенно выдержал давление, которое могло возникнуть в труднейшем полете.

Все препятствия были преодолены, и все атаки медиков были отбиты. На следующий день в военный городок на имя командира полка Геннадий послал короткую, но торжественную телеграмму: «Годен летной без ограничений. Гусев».

Летом одна тысяча девятьсот двадцатого года Николай Игнатьевич Потеряев, совершивший после выздоровления не один десяток боевых вылетов, особо отличился при выполнении важного задания командования фронта. Управляя опять-таки видавшим виды «фарманом», он совершил дальний по тем временам перелет и, отбив пулеметным огнем атаки вражеских истребителей, вышел на крупный железнодорожный узел, где скопились белогвардейские эшелоны с орудиями, боезапасом и продовольствием. Снизившись над станцией, Потеряев сбросил три имевшиеся у него бомбы, и все они поразили цели, повредив эшелоны и взломав рельсы. А одна из бомб угодила прямо в паровоз, и клубы пара из взорвавшегося котла накрыли железнодорожный узел.

Почти полстолетия спустя Геннадий Михайлович Гусев, к тому времени майор и командир эскадрильи, отличился на крупных боевых учениях. По сигналу тревоги он занял свое место в кабине сверхзвукового истребителя, мигом взлетел и круто поднял самолет в выси стратосферы, отыскал, перехватил и точно атаковал скоростной бомбардировщик «противника». Мне довелось быть на тех учениях и слышать возглас штурмана наведения:

— В воздухе — Гусев!

9

Длиннополое старомодное пальто на вате примостилось рядышком с эластичными летными костюмами, обтекаемыми гермошлемами, кожанками на молниях и другими доспехами авиаторов. Необычное соседство выглядело странно и немного смешно, но никто этого не замечал. Летчики — крутоплечие, стройные мужчины — неотрывно слушали сухонького сутуловатого старичка в тщательно отутюженном черном костюме. Узкие кисти его истончившихся рук энергично взлетали, планировали, разворачивались и пикировали. Слышался негромкий глуховатый басок.

Интересно было наблюдать за летчиками. Глаза их, устремленные на Потеряева, светились поистине детским любопытством, а руки непроизвольно повторяли его причудливые жесты, тоже взмывали, вспарывали воздух, крутились в сложных фигурах.

Продолжая рассказ, Николай Игнатьевич вынул из

своего школьного портфельчика знакомый мне старинный альбом с латунными застежками и передал слушателям. Те раскрыли его и, по-мальчишески сгрудившись, принялись рассматривать фотографии на твердом картоне.

Перед их взорами возникали военные аэропланы времен первой мировой и гражданской войн, такие беззащитные, уязвимые и вместе с тем отважные и дерзкие. Проходили и статные фигуры боевых авиаторов во френчах и гимнастерках, куртках и шинелях, поверх которых виднелись ордена в кумачовых розетках. Открытые, волевые лица русских воздушных бойцов, первых асов, и среди них были и совсем юный Николай Потеряев, и его учитель, друг, «шеф-пилот» Советской России Алексей Ширинкин.

С трогательной бережливостью альбом передавали из рук в руки. Отвечая на вопросы, Николай Игнатьевич время от времени пристально глядел в окно. За ним открывалась близкая самолетная стоянка. Истребители виделись в профиль, их распластанные, серебристые фюзеляжи таили в себе могучую силу, откинутые к плотным мускулистым бокам скошенные крылья выражали готовность к пружинистому броску, и можно было понять, о чем думает, о чем мечтает, глядя на самолеты, старый пилот.

Видимо, летчики поняли его. Майор Гусев неприметно подозвал к себе молоденького лейтенанта и что-то таинственно зашептал ему на ухо, тот хитро улыбнулся, кивнул и тихонько, как заговорщик, выскользнул из эскадрильского домика.

Беседа еще продолжалась, когда неподалеку ровно зарокотал мотор и зашуршали шины. От стоянки плавно подкатил автомобиль-тягач с самолетом на буксире и остановился в виду беседующих.

— Прошу, Николай Игнатьевич,— произнес Гусев.— Прошу к моему аэроплану...

— Как? Что такое? — встрепенулся Потеряев и, уже догадываясь, зачем его приглашают, радостно зарделся.— Конечно же я готов.

— Не совсем... А ну-ка подайте гермошлем,— приказал майор.— Наденем-ка его, как полагается для полета.

— Охотно, охотно,— весело согласился старик и, подровняв расческой редкие седые волосы, поднырнул

в округлый, светлый летчицкий шлем. Морщинистое лицо выглянуло из плексигласового окошечка.— Готов к полету.

Подошли к истребителю. Вблизи он показался велик и высок. Широко и вольно размахнулись его остроконечные крылья. Поднятый сильными руками, едва касаясь обшивки плоскостей и фюзеляжа, Потеряев взлетел в кабину, откинулся на сиденье и замер перед обширной панелью с многоцветием посверкивающих циферблатов, табло, лампочек, стрелок, рычажков и кнопок. В немом восхищении просидел он минуту-другую, а потом пальцы его инстинктивно отыскали и цепко ухватили ручку управления, ступни легли на педали.

— Есть контакт,— глухо проговорил он.

Тягач тронулся с места и повлек за собой самолет. Чуть покачиваясь, истребитель мягко покатил к старту. В открытой кабине сидел старый человек, радостно глядел вперед и с наслаждением дышал воздухом аэродрома.

Я — смелый питерский пилот,
Я отправляюсь в полет...

Нет, теперь ему уже не дано взлететь. Что ж, всему свое время. Но Николай Игнатьевич твердо знал, что на этом самолете непременно поднимется высоко в небо другой — молодой советский летчик.

СЕРЕБРЯНЫЕ ШПОРЫ

Часть первая

БОЕЦ ВОЛОДЬША

Наконец, мечты мои осуществились! Я воин!..
Ношу оружие!

* * *

Солдат должен быть более нежели человек!
В этом звании нет возраста. Обязанности его
должны быть исполняемы одинаково как в 17,
так и в 30 и 80 лет. Советую тебе умирать
на коне и в своем ранжире, а то предрекаю тебе.
что ты или попадешься бесславно в плен,
или будешь убит мародерами, или,
что всего хуже, будешь сочтен за труса.

Надежда Дурова. «Записки кавалерист-девицы»

Глава первая

В ОСТРОГЕ

Вера проснулась. Вокруг стояла непроглядная темнота. Пахло сыростью, прелью, волглой одеждой. Во рту было солоно. Лицо саднило. «Ничего,— подумала,— терпимо». Ожидала, что будет куда больней. Все-таки она здорово обвела того офицера в барашковой шапке. Ревмя ревела, ныла, канючила, пока не надоела ему, и он, плюнув, велел отвести ее в острог. Могло быть и хуже.

«Какая же подлюка на меня доказала?» Ответ выходил один: Володька Шутов, только он, больше некому.

Вера вспомнила, как на базаре, в обжорке, когда, присев на ящик, она жадно хлебала из глиняной миски щи с обрезью, неподалеку мелькнула черная фуражка с гербом реального училища, узкое Володькино лицо. Показалось и исчезло.

...На выходе с базара, напротив белой часовенки, где толпились нищие, Веру догнали три стражника в серых башлыках, с шашками-селедками на боку. Окликнули: «Эй, девчонка!» — и приказали идти с ними.

Шутов предал. Только он. Больше никто из лобвинских ей не попадался. И зачем же она, дура лопоухая, поплелась на базар? Жрать, видишь ли, захотелось.

Послышались топот сапог, голоса, бряканье, скрип. Темнота прорезалась желтовато-пыльным светом, который сочился из крохотного зарешеченного окошка.

— Эй, краснопузая, вставай! — крикнули из-за двери.— Разоспалась, как у мамки на перине.— Скрипнул засов, обитая железом дверь распахнулась. Запахло смазными сапогами, вином и махоркой. В проеме стоял здоровенный стражник с фонарем «летучая мышь».

— Щас... щас...— Она поднялась, распрямляя одеревеневшие ноги.— Иду.

Одернула пальтишко, поправила сбившийся полушалок и шагнула за порог.

Коридор был узкий, полутемный, стены обшарпанные, с потрескавшейся штукатуркой. В ряд — железные двери камер... Никогда она не думала и не гадала, что попадет в этот страшный Верхотурский острог.

В проходе Вера увидела серые согнутые спины. Парами стояли пленные красноармейцы. Руки назад, спутаны веревками, ремнями. Насчитала четыре пары.

— Становись,— приказал ей стражник.

Вера пристроилась за пленными и сложила руки за спиной, ожидая, что и ее свяжут. Но не связали: то ли забыли, то ли посчитали ненужным.

— Пшли... Ну, пшли! — крикнул стражник.

Двинулись по коридорам, вышли на мощенный камнем, с примятым грязным снегом двор, обнесенный глухой тесовой оградой. В середине тюремного двора стоял прапорщик с наганом в руке, а за ним полувзвод солдат с винтовками. Конвой взял оружие наизготовку и повел пленных через распахнутые ворота на улицу.

— Шире шаг,— скомандовал прапорщик.— Пошевеливайся, красная сволочь!

Красноармейцы были босы, в рваных, вылинявших гимнастерках, без шапок. Они волочили ноги по мокрому снегу. Вере шагалось полегче в ее сыромятных мягких обутках.

Чуть занимался пепельно-серый рассвет. Слева, вползая на взгорье, лепились избы с плотно закрытыми ставнями. Редкие дымки тянулись из печных труб.

За поворотом дороги, на бугристой площади, были врыты два столба с перекладиной, на которой висели двое в армяках и лаптях и один в гимнастерке, босой. Лиц не разглядеть.

— Глядите, глядите, тов-варищи,— прохрипел прапорщик.— Вздернули мы ваших совдепов... Рачьих и собачьих... И вас бы так, да вот явили божескую милость: пули не пожалеем. Марш!

«Значит, все. Конец».

И Вера подумала о том, что сейчас казалось самым страшным: никто, никогда, ничего о ней не узнает.

Была Вера — и не станет ее.

Там, за рекой и лесом, в 3-м Екатеринбургском полку, она записана как красноармеец-доброволец Владимир Иванович Холкин, неполных семнадцати лет. Ни ротный Тырышкин, ни старшина, ни даже ее дружки не ведают, что она девочка по имени Вера. И мама, и тятя, и Сережка ничего про нее не узнают. Так и помрет безвестной.

Пленные опустились в низину, и тотчас повеяло сырым речным холодом. Справа, под обрывом, текла Тура.

«Ведут к камню Кликуну. Там и застрелят».

Река шумела, пенилась на излучине, похрустывала ломким ледком у берега. Вода была тяжелая, темная. Дорога пошла на подъем. Впереди на крутобоких, дыбящихся каменьях белыми заплатами лежал снег.

— Шагай, шагай! — конвоиры, подталкивая прикладами, погнали красноармейцев к подножию камней, на самый обрыв. Там их выстроили цепочкой.

Солдаты отошли, стали шеренгой.

— Изготовьсь! — скомандовал прапорщик.

Вера неотрывно следила за тем, как взлетели вверх стволы. Один из них воткнулся прямо в нее и застыл. Ей в глаза глянуло круглое, зрячее дуло. Оно расширилось и заслонило весь свет.

«Мама, мамочка!» — подумала, а может, крикнула Вера...

Глава вторая

ПРОПАЛА ДОЧКА

— Девочку не встречали? Худенькую, русую, в синем пальтишке?

— Ахти, беда. Стало быть, потеряла, сердечная? Кем же она тебе доводится? Дочка, что ли, али сестра?

— Дочка, дочка.

— Годков-то ей сколь?

— Пятнадцать невступно.

— Невелика. А сами-то из каких мест? Здешние али приезжие?

Приезжие, приезжие, бабуся.

— А откуда прибыли-то?

— Издалека. Поселок наш за Екатеринбургом, еще сутки на чугунке ехать.

— Так, так... А скажи-ка на милость, на кой ляд вас сюда принесло?

— Нужда заставила,— Прасковья насупилась.— Не знаешь, что ли, бабка? Белые прут, людей бьют, стреляют, вешают.

— Ну что ты, поди, не всякого, с разбором, кого и милуют,— старуха в плюшевой душегрейке и пуховом платке развела руками.— Не видела я никакой такой девочки... Иди с богом, милая.

Только время потеряла. Прасковья с досадой повернулась и торопливо зашагала дальше по раскисшей дороге поселка. Вот уже полдня она мотается по Нытве, бродит по улицам, заходит в дома, все спрашивает:

— Не видели девочку в синем пальтишке?

На го́ре, на страдания, видать, попали они сюда. Еще неделю назад был у Прасковьи Кузницыной свой кров, свое гнездо. А вот в одночасье снялись и полетели невесть куда.

...В мглистую октябрьскую полночь ее разбудил посыльный из военкомата. Забарабанил в ворота:

— Тут Кузницыны живут? Вставайте.

— Что тебе? — всполошилась Прасковья.

— Собирайтесь. Сухари да пару исподнего с собой — и на станцию, в шалон. Белые подходят. Сказано всем большевицким семьям вакуироваться.

Кузницына сразу же подумала о муже. Павел записался в большевики еще в семнадцатом, а нынешней весной ушел вместе с другими поселковыми рабочими в красный отряд. Сказывали, сражаться против казачьего атамана Дутова. То, что Кузницыны — большевистская семья, это в Лобве каждому ведомо. Останься тут — беляки не помилуют.

Прасковья разбудила Веруньку и Сережу: сонные, ничего не понимают. Побросала в мешок кой-чего из еды и барахлишка и — бегом на станцию. Там уже стоял эшелон: теплушки и паровоз под парами. Скорее, скорее!

Поехали. Дважды надолго останавливались. Убегали в лес, хоронились, с тревогой прислушивались к перестрелке. Беляки рвались перерезать дорогу, но красные отряды их отбивали, и снова беженцы садились в

теплушки. Пермь миновали без задержки и вот остановились в тупике, в этой самой Нытве. Как были в холодных теплушках, так и остались. Стоят чередой вагоны на запасных путях. Тут тебе и стол, и дом.

В полдень Прасковья прилегла — сухари берегла, а что недоедала, брала сном. Разбудил ее старик Вотинов, отец красноармейца:

— Чтой-то, Паша, давно твоей Верки не вижу. Все ребята здесь крутятся, а ее нет, как бы худа не было.

Откатила тяжелую дверь и по скрипучей доске перешла глубокую, кривую ямину, доверху залитую побуревшей дождевой водой: тут и утонуть недолго, а Вера бедовая, прыгнет да сорвется...

На откосе бегали ребятишки. Увидела Сергея, спросила:

— Вера где?

— Мамк, не знаю... Мамк, давно не видел. Поутру с нами играла в войну. Атамана били... А потом куда-то ушла. В поселок, должно, или на станцию.

Ходила Прасковья и по поселку, и по путям, станцию всю исколесила — нет Веры. Пошла к лялинскому эшелону, в котором находился родной брат Прасковьи — Василий — с семьей. Василий сказал, что нынче Веры не встречал.

Бродила по теплушкам. Люди спали, грелись, кутаясь в полушубки, варили похлебку, сушили онучи.

— Не видели девочку в синем пальтишке?

Верино синее пальто мельтешило у нее в глазах. Было оно пошито с немалыми трудностями в позапрошлом году. Полагали Кузницыны определить дочку в гимназию. Очень уж она книжки любила и учиться хотела. Справили ей платье, пальто. Поехала в Верхотурье нарядная, радостная. А вернулась в слезах. На порог гимназии даже не пустили. Начальница вышла, строго сказала: «Из рабочих семей не берем, хватит вам и приходской школы».

— Не встречали девочку, русую, в синем пальтишке?

— Нет, не попадалась.

Поздно вечером возвратилась Прасковья в свою теплушку усталая, замерзшая и голодная. Мельком взглянула на Сережку. Лобастый, как Вера, худой, но в отличие от дочки— черноволосый. Глаза прячет, мнется.

— Ты чего, Сергей?

— Мамк, мамк, я те все скажу.

— Что скажешь?
— Про Верку.
— Ну?
— Она в Красную Армию подалась, ей-богу. Да-да, ты не сомневайся, она еще надысь говорила: «Опостылело мне жить в этом поезде, только на нарах дрыхнуть да с вами в войну игры играть. Уеду, вот увидишь, уеду в Красную Армию».
— Так чего ж ты молчал, горюшко мое?
— Вера не велела сказывать... Никому. И тебе, мамка,— да ты вон как убиваешься... Лучше уж скажу...
— Ушла, ушла, непутевая!— заголосила Прасковья. Вскочила, заходила по вагону.— Куда же? Где ее теперь искать?
На нарах зашевелились, заговорили:
— А ведь вправду удрала. Сдурела девка, пятнадцати годов нет, а туда же!
— Да куда ей. Как сбежала, так и прибежит. Станут в войско девок брать. Погонят взашей, да еще посмеются.
— Не говори. Верка — оторви да брось! И ловка, и сметлива. Главное, грамотная, такую и взять могут — в сестры милосердные, в писаря или там еще куда...
— Паша, Паша, ты за ней езжай, догони, а то потом ищи-свищи ветра в поле.
— Где искать-то?
— Где? Беспременно в Перми. Там — начальство, там и записывают.
— Как поеду-то? Сергея на кого оставлю?
— Хошь нам поручи, хошь к брату сведи, только времени не теряй.
Всю ночь Кузницына не сомкнула глаз, а утром, перепоручив сына брату Василию, отправилась в губернский город на розыски дочери.
Сумрачным, дождливым днем сошла с поезда на пермском вокзале и окунулась в уличную сутолоку. Прохожих было множество — и военных, и штатских. Большой город Пермь, ох большой! В таких-то городах Прасковья отродясь не бывала. Выросла она на Исовских приисках, где дед и отец с каелками в руках промышляли золото и платину. Там избы, бараки, бревенчатые казармы. Речки неглубокие, узенькие, забитые сплавным лесом, не чета Каме, широкой, полноводной...
Встречались извозчичьи пролетки, скрипучие телеги

ломовиков. Да разве подвезут без денег-то? Шла и спрашивала у встречных:

— Будьте добры, скажите, где тут в Красную Армию записывают?

— Чего?— переспросил старик в чиновничьем картузе.— А? В армию? Не ведаю, дражайшая, не осведомлен-с.

— Уже не вы ли собираетесь на службу поступить?— сказала дама в меховом манто.— Что ж, попытайтесь, может, возьмут, им теперь только женщин и брать, для поднятия духа... Знать не знаю...

Наконец молодой красноармеец указал ей, как пройти на Екатерининскую улицу и разыскать пункт записи добровольцев. И через полчаса, вымокнув под холодным дождем, Прасковья нашла облупленный флигель, приткнувшийся к каменному дому. У входа стоял низкорослый солдат с густыми усами и седоватой короткой бородкой.

— Куда, гражданочка?

— Здесь в Красную Армию записывают?

— Здесь. Ну а позвольте узнать, зачем это вам?

— Дочку ищу, дяденька, в синем пальтишке.

— Дочку?— удивился солдат.— Дак ты сама еще дочка... Молодая больно...

— Мне за тридцать перевалило, старая уж...

— Видали таких старых... Объясни толком, молодка, что твоя дочка у нас потеряла?

— Бежала она из дому, дядя, в Красную Армию записываться, немаленькая, скоро пятнадцать.

— Да, не мала... Ты, поди, в эту пору уже замужем была?

— Почти что так, шестнадцати лет...

— Чудеса в решете. Посуди-ка ты сама, на каком таком основании и по каким причинам возьмем мы в полк твою малолетнюю дочь? Что, в Расее других людей нет, чтобы пролетарскую революцию защищать?

— Я понимаю... Но ведь ушла, пропала, а она настырная и грамотная... И отец у нас большевик, в красном отряде воюет. Не уйду я, пока не узнаю.

— Понятно. Что могу тебе сказать? В карауле я с утра. Никаких таких девочек в глаза не видывал, а что было вчера, не знаю. Начальство будет через час.

Пришел комиссар — строгий молодой человек в очках, в длиннополой шинели. Он недоуменно глядел

на Прасковью, пока солдат-караульный объяснял ее просьбу.

— Девочка? Нет, конечно. Берем только сестер милосердия... А такую... пятнадцати лет?

— Да посмотри ты.

— Извольте,— пожал плечами молодой человек. Они вошли в просторную комнату. На большом, крытом кумачом столе лежала толстая амбарная книга.

— Фамилия?

— Кузницына,— с замирающим сердцем ответила Прасковья.— Вера Кузницына.

— Не думаю, не думаю,— приговаривал комиссар, листая страницы.— Может, без меня было... Нет, конечно, нет...

...Когда, измученная донельзя, еле шевеля ногами, поднималась Прасковья по булыжному косогору, то увидела впереди двух красноармейцев — высокого, в серой папахе, и маленького, в заячьем треухе. Оба бережно прижимали к бокам по буханке хлеба. Маленький повернулся, и Прасковья ахнула: так был он похож на Веру.

Она растерялась, ноги отяжелели. Собравшись с силами, побежала, спотыкаясь. Кинулась за угол: красноармейцев и след простыл. Уже не поблазнилось ли?

— Вера! Верочка!— закричала Прасковья. Она бежала и кричала не помня себя, пока какой-то человек в мокром полушубке не остановил ее.

— Чего орешь, оглашенная?

— Солдатики тут проходили, не видел?

— Эва чево, тут солдат пруд пруди, вокзал рядом, Пермь-I, а там воинский эшелон стоит. Туда и иди.

— Благодарствую. Где вокзал-то?

На затоптанном перроне гулял ветер, гнал мокрые листья, бумажки, морщинил лужи. Пути были пусты, тускло поблескивали рельсы.

— Поезд-то, поезд где?— растерянно спросила Прасковья проходящего железнодорожника.

— Убег твой поезд и всех увез. Небось мужа хотела проводить или миленка? Опоздала, не догонишь.

Измученная, отчаявшаяся, присела она на скамью у вокзала и долго смотрела перед собой невидящими глазами.

Только через полгода получила Прасковья Дмитриевна Кузницына весточку о дочери. Брат Василий в то

время был уже в Красной Армии. Он с оказией прислал письмо сестре Елизавете, а та разыскала Прасковью и сообщила, что Вера жива и здорова, служит в красной кавалерии. А повстречал ее в городе Глазове, что под Вяткой, лобвинский парень Мишка Тюляев. Была Вера верхом на коне и при оружии.

Глава третья

СПРАВКА С ДВУМЯ ПЕЧАТЯМИ

Он стоял у темно-желтого тесового вокзальчика и с жадностью глядел, как пожилой мужик свертывает и закручивает толстенную козью ножку. Втянув ноздрями крепкий махорочный дух, красноармеец прижмурился от удовольствия и покрутил головой:

— Х-хороша!

— Угостить табачком, служивый?— пожалел его мужик.

— Не расходуйся, папаша, как-нибудь перетерпим,— вздохнув, отказался красноармеец.

Вере он глянулся. Долговязый, лицо доброе, круглое, все в рябинках. Из-под фуражки с облупившейся красной звездочкой торчали рыжие курчавые волосы. Глаза с рыжинкой, усмешливые.

Красноармеец заметил Веру, подмигнул:

— Здорово, девонька, не в дорогу ли ладишься?

— Может, и в дорогу, а что?

— Тяжеленько тебе одной придется, маленькая да худенькая, еще обидит кто. Куда направляешься?

— Куда, куда, за кудыкины горы.

— Бойкая ты и больно секретная. А я вот человек открытый, простой. Могу даже представиться: Серапионов Костя, прошу любить и жаловать.

— А по отчеству?— По ее представлениям, красноармеец был немолод, лет под двадцать пять. Шинель на нем обтрепана, в нескольких местах прожжена — видать, старый вояка.

— Можно и не величать. Костя и Костя, так все зовут.

— Воевать собираетесь или отвоевались?— полюбопытствовала Вера, а про себя прикинула, что дяденька очень подходящий, бывалый, с таким не пропадешь, в дороге веселее, посоветует и поможет добраться до

места. Можно даже ему открыться, выложить все начистоту.

— Как тебе сказать? Вроде бы и отвоевался, да, наверное, снова за это дело примусь по второму разу... В июле месяце был ранен, сражаясь против атамана Дутова. Долго по лазаретам мыкался да здесь, в Нытве, месяц у родственников отдыхал. Теперь же чувствую себя в полной исправности и готов к дальнейшему прохождению службы. Только вот беда: пищу не всякую принимаю, а курить доктора запретили. Вот и стою слюной исхожу, глядя на курцов... Значит, едешь. Все же куда, позволь тебя спросить?

— В Красную Армию записываться, вот куда!— выложила решительно Вера и настороженно поглядела на Серапионова. Ожидала насмешек и даже издевок. Но рыжий даже не улыбнулся.

— А что, я это очень даже одобряю. Нынче всем надо идти в Красную Армию, потому как дело наше тонкое, все на нас лезут: и офицерье, и казаки, и чехи, и черт, и дьявол. Была бы моя воля, всех поголовно мобилизовал — и старых и малых. И всех бы выставил цепью — по дорогам, по селам, по деревням. Ружьев не хватает — с вилами бы, с топорами: колите, рубите, зубами грызите, только не пускайте.

— Да у них сила.

— Оно, конечно. Я ведь шутя такую стратегию придумал, надо бы чего поумнее завернуть. А вот ты — молодца, недурно придумала, только напрасно все: женский пол, да еще малолетний, не берут.

— Знаю. Еще дома, в Лобве, когда тятя в отряд уходил, хотела записаться, да комиссар отказал.

— Вот видишь!

— Ну и что? Девкой не взяли, парнем возьмут.

— Это как же?

— А вот так,— она шагнула поближе к Серапионову, зашептала заговорщицки:— У меня все припасено: брюки, обутки, шапка — все как следует. И к мужской одеже я привычная, с самой нынешней весны служила в волисполкоме, писарем была, а больше посыльной. Посылают с пакетом в Верхотурье, так я в парня беспременно переоденусь, тятины порты сбондю — и ходу! И на лошади гоняла, и пеша, и на поезде.

— А сдюжишь?

— Да я здоровая, жилистая, с малолетства на лесо-

пилке работала, по десять часов подряд. Не только щепу да рейку собирала, но «медведки» и тачки возила на лесной бирже. Пока докатишь, семь потов сойдет. Я даже с грузчиком Павловым — первый был в поселке силач — один раз доски в вагон таскала. Он плечо подставляет, и я подставляю... Не верите?

— Ладно, ладно, верю я... Только в Красной Армии первым делом командир или комиссар документ спросит. Подай да покажи. А ты что?

— Не глупая, чай, понимаю. У нас два года тому назад один верхотурский мальчишка на германскую войну бежал. Сел в поезд и тю-тю... А бумаг, кроме гимназического билета, никаких. Далеко не уехал, его в Екатеринбурге и сцапали. А у меня бумага имеется, хорошая, настоящая. Хочешь, покажу?

Вера расстегнула пальто и достала вчетверо сложенную серого цвета бумажку.

— Ну-ка, читай, Костя,— она не заметила, как перешла с Серапионовым на «ты» и стала его звать по имени.— Читай, если умеешь.

— Маленько маракуем...— тихо шевеля губами, он медленно разбирал по складам: «Дана сия справ-ка... граж-данину Холкину Владимиру Ивановичу рождения 1901 года, ноября месяца в том, что он...» Погоди, значит, теперь ты и есть Холкин?

— Ага, я и есть.

— Ну и хитра... Гляди, здесь печать... Да еще вторая. Это зачем?

— Вернее будет. Наша — лобвинского волисполкома печатка, да здешняя — нытвинская.

— Ловко! И годы прибавила?

— Что такого, всего два годочка. Мало ли теперь худых да маленьких, толстеть-то не с чего.

— Это верно. Где ты такой документ промыслила?

— Где, где... Как полагается, председатель волисполкома товарищ Двинянин Андрей Яковлевич подписал. Чего смеешься? Как в Нытву приехали, стал он всем лобвинским бумаги выправлять, а то, говорит, ваши личности неудостоверенные. Народу у нас много — целый эшелон. Ему одному не управиться. Позвал меня на помощь, я же тебе толковала, что в Лобве писарем была...

— И почерк-то у тебя разборчивый, с нажимом...

— Ну вот я и помогла...

— Он и подмахнул?

— А как же, станет все справки читать, ему не до того, главное дело — людей накормить.

— Товарищ Владимир Холкин, нравишься ты мне... Вот что, Володя. Послезавтра поеду в Пермь. Желаешь — дуй со мной, я не я буду, если тебя в Красную Армию не определю. Приходи часам к одиннадцати, я прознал, поезд пойдет... Ясно?

— Ясно... Только вот что плохо: пальтишко у меня девчоночье.

— Ничего, другое добудем, со мной не пропадешь. Будь здорова... Володя!

«Здравствуй, дорогая маманя Прасковья Дмитриевна, низко кланяюсь и желаю всего наилучшего, а главное, здоровья. Пишет тебе твоя непутевая дочь Вера. Не брани меня, не ругай, что я тебя покинула и Сережу тоже, не было никакой моей возможности сидеть в Нытве в теплушке да играться с ребятишками в войну, потому как, ты знаешь, война идет настоящая и тятя наш который месяц сражается с неприятелем не на жизнь, а на смерть. И я так же буду воевать, как он, за Советскую власть и запишусь в Красную Армию,— не знаю только, примут ли, а уж я очень об этом мечтаю. Засим остаюсь твоя любящая дочь Вера, не поминай меня лихом, не плачь обо мне, а то я сама заплачу...»

Вера нашептывала письмо, которое ей негде и не на чем было написать. И которое, даже написав, ни в коем разе нельзя было переслать матери.

«Потом, потом, когда устроюсь да схожу в бой, я пошлю ей письмо»,— думала Вера, погружаясь в дремоту под тряский перестук вагонных колес.

— Эй, паренек, тут тебе не съезжая, нечего грязь собирать!— заругался у входа во флигель старик с берданкой.

— Щас, щас, дедушка.— Вера побежала к ближайшей луже и там долго и усердно мыла обутки. Заодно поправила армяк, лихо сдвинула на затылок заячий треух. Тем временем Серапионов беспрепятственно, даром что был в заляпанных сапогах, прошел в сени.

— Ну, теперь иное дело,—подобрел караульный.— Проходи.

Все-таки сразу за парня принял, и то хорошо.

Коридор в два колена был забит народом — сидели, стояли, курили, разговаривали. Все перемешалось: шинели, пальто, тужурки, полушубки, мешки, баулы, корзины, котомки, фанерные чемоданы. Вера, робея, стояла в уголке и выглядывала молодых ребят, своих одно-леток: есть и такие. Меж кряжистым мужиком и худым смуглым мужчиной сидел парень лет шестнадцати — круглый, как колобок, щеки рыхлые, глаза водянистые, сонливые. «Рохля,— подумала Вера.— Уж если его возьмут, то меня и подавно». Серапионов ловко, без всякого спросу открыл дверь и просунулся в комнату, где, как заметила быстроглазая Вера, за столом сидели командир или комиссар и еще какие-то люди. Пробыл Костя там очень долго. Вера волновалась: свой документ она отдала Косте. Вышел Серапионов твердым шагом, улыбнулся во весь рот и объявил:

— Как есть я фейерверкер, форменный пушкарь, то и назначен в артиллерию... Нынче же буду на батарее.

— А я как же?— спросила Вера.

— И ты будешь при месте. Подожди маленько, скоро твое дело решится...— Он увлек ее в сени и там скороговоркой объяснил:— Вот-вот команда отправляется, начальник не возражает тебя взять. Только отвечай, как уговорились. Поняла?.. Тьфу ты, понял, Володя?

Прошло не менее получаса, пока из-за дверей не вышел молодой командир в короткой серой шинели. В руках у него была узкая полоска бумаги, с ней он обходил добровольцев, и они один за другим выходили на улицу. Дошла очередь и до Веры.

— Вот, товарищ командир, доброволец Холкин,— пояснил Серапионов.— Я вам докладывал, вполне справный парень.

— Что у него, своего голоса нет? Ну-ка скажи, откуда сам, кто такой?

— Холкин Владимир, из поселка Лобва Верхотурского уезда,— старательно чеканила Вера.— Хочу в Красную Армию, бить врагов революции...

— Ишь ты, не голос, а чистый звонок, как у девчонки,— усмехнулся командир. При этих словах у Веры захолодало под сердцем.

— Кто родители?

— С лесозавода мы... Тятя машинист на лесопилке... был, большевик он. Маманя тоже хотела записаться...

— Сейчас где отец?— командир глядел на Веру утомленными бессонницей глазами.

— Он в красном отряде, не знаю, живой ли, нет...

— Ясно. Вот артиллерист говорил, что ты пишешь и читаешь отменно. Правда?

— Три класса приходской закончил. Это раз... А потом за два класса гимназии готовился сдавать.

— М-да, подходяще, только уж очень молодой да и малорослый. Справку твою смотрел: там сказано: семнадцати нет...

— Нет, так будет,— уверил Серапионов.

— Ох и согрешу я,— сказал командир.— Что с вами делать, уговорили, утолкли. Ладно, забирай котомку и шагай в строй, коли грамотный. А там поглядим.

— Как же ты, Костя?— задержалась Вера в сенях.— Неужели меня оставишь? Может, попросишься, вместе будем, а?

— Нет, не судьба, милок. Такая уж служба, кому куда предназначено: артиллеристу — в батарею, кавалеристу — в эскадрон, а тебе — необученной, еще военную науку надо превзойти,— шептал Серапионов.— Так-то лучше, вернее, а то как в бой пойдешь? Все правильно, все ладом.

— Понимаю,— грустно кивнула головой Вера.— Только с тобой бы я не робела...

— Ничего, гляди веселей, такие наши дела. Не забывай нижегородского котельщика Костю Серапионова. Ну, всего тебе хорошего, чтобы пули за версту облетали. Прощевай, Володя, помни, кто ты теперь есть.

Глава четвертая

ЧТО ТАКОЕ ЦЕЙХГАУЗ?

Подостлав серый армячок, подаренный Серапионовым, и сняв обутки, Вера уселась на верхние нары, в два этажа опоясавшие казарму. Вокруг сиротливые, голые стены, бог весть когда покрашенные охрой, одиноко и тускло горит керосиновая лампа у входа, где топчется красноармеец с винтовкой у ноги. Один он в исправной военной форме, гимнастерка туго перепоясана ремнем, на ногах добротные сапоги. А люди, что сидят и лежат на темных жестких досках, одеты кто во что горазд:

в пиджачках, рубахах, куртках, потертых гимнастерках, а иные даже в лохмотьях. Под боками — тулупы, пальтишки, мешки, попоны и всякое тряпье.

Вера задумалась. Где-то Костя? Мелькнул и пропал, а уж как с ним было хорошо, покойно. Потом вернулась мысль, которая беспокоила всю дорогу: не спутаться бы, ни в коем разе не ошибиться, все надо говорить теперь по-мущински: «Я пошел», «сказал», «увидел», «подумал»... Да и фамилию и имя надобно затвердить как молитву: «Холкин, Холкин... Владимир, Владимир...»

Все эти мысли перебила одна: есть хочется. Еще на базаре Серапионов выменял синее пальтишко — мамкину покупку — на пирог с рыбой, который уплели там же, на лавке. С тех пор во рту не было ни маковой росинки. Костя говорил: «Определишься — накормят, будет тебе и хлеб, и приварок». Где же они?

Кое-кто в казарме пытался закурить, но красноармеец у входа предупредил:

— Дымить не положено, курить — на мороз.

«Мне бы курить научиться, говорят: затянешься — и есть неохота. Вообще-то в казарме не плохо, не в пример лучше, чем в теплушке. Печка протоплена, да и народу много, надышат, не замерзнешь. Только куснуть бы чего-нибудь, когда еще будет этот самый приварок».

Верино внимание привлек сосед по казарме, давешний парень, толстый как колобок, тот самый «рохля». Он не спеша развязал котомку, достал ковригу хлеба, пяток вареных картофелин в мундире, три луковицы, тряпицу с солью. Вера невольно озлилась: «Сапог не снял, шапку не скинул, а сразу за жратву». От запаха хлеба и картошки у нее слегка закружилась голова и слюна заполнила рот. Вера подвинулась поближе и спросила:

— Эй, парень, тебя как зовут?

Не донеся ломоть хлеба до рта, «рохля» удивленно поглядел на нее и неожиданно тонким голоском ответил:

— Меня-то? Володей меня зовут.

— Во! И меня Володей.— А сама подумала: «Он-то Володя настоящий».

— Здорово, выходит — тезки. А откуда будешь?

Вера ответила.

— Деревня, чай?

— Какая деревня! Поселок. У нас и завод есть: лесопилка. А ты?

— С Камы мы, с затону, мастеровые. Суда готовим к навигации. Чиним. Слыхал?

— Уши имеются, голова на плечах, соображаю.

— Ты вот что... Есть хочешь?

— Немножко,— обрадовалась Вера.

— Держи. Садись поближе.

Они быстро подобрали всю картошку, лук и половину ковриги.

— Думаешь, мне много нужно? Не гляди, что толстый, много не ем... Да потом я и не жирный, ей-богу, у меня, мамка говорит, кость широкая.

— Да уж, конечно,— закусив, Вера подобрела.— Конечно, не жирный.

— Тебе-то хорошо,— позавидовал Володя.— Ты вон какой, поджарый да легкий. Небось и бегать горазд, не поймаешь. А мне-то каково? В бою, пока повернусь, в меня все пули попадут... Ты хоть надо мной не надсмехайся, а то с кем ни встречусь, все смеются: толстяк, пузырь, и еще того хуже: буржуй.

— Не буду,— успокоила его Вера и подумала: выходит, что есть парень, который ей завидует. Она вспомнила Костю Серапионова и добавила:— Ты, Володя, меня держись, не робей, в случае чего — пособлю. Со мной не пропадешь.

Серапионов не соврал, поздним вечером приварок все-таки доставили. Два добровольца внесли тяжелый медный котел, доверху наполненный пахучими щами. Люди быстренько соскочили с нар, погромыхивая котелками, чашками, ложками, выстроились в длинный, в два поворота, хвост. Кто поигрывал на губах военный сигнал, кто призывно напевал:

Бери ложку, бери хлеб
Да садися за обед.

Кто-то добавил:

Бери ложку, бери бак,
Нету ложки — хлебай так...

«А у меня ни ложки, ни чашки»,— спохватилась Вера, однако в очередь встала, надеялась, что займет у кого-нибудь из добровольцев, у того же Володи, например. Ждать, да еще с пустыми руками, было тоскливо. Поддержка пришла неожиданно. Веру легонько толкнули в спину. Обернувшись, она увидела странного челове-

ка. Лицо изжелта-смуглое, глаза щелочками, смоляные волосы собраны в косу. Китаец.

— Стоис?— спросил и улыбнулся так, что глаза вовсе закрылись.— А сто стоис? Лоска нет, часка нет. Давай, давай, мои бери, у меня все есть, я добрый ходя.

— Вот спасибо-то,— едва успела сказать, потому что черпак с ее щами уже был вознесен над котлом, оставалось лишь подставить посудину.

Быстро выхлебав щи из миски и вылизав ложку, она протянула их китайцу и еще раз поблагодарила.

— Часка — мне, а лоска — тебе, давай бери, насовсем... Холосо?

Крепко спится на сытый желудок, и нары кажутся мягче пуховой перины, и не тревожат ни громкие разговоры, ни буйный храп.

Приснились Вере светлая речка Лобва, дощатый легкий мосток и мягкий зеленый берег. А на нем стоят, утопив копыта в траву, заводская пегая кобылка по кличке Мать-моя и ее тоненький жеребенок. Привела их Вера на водопой, и вот-вот они спустятся на сыпучую песчаную отмель и окунут морды в прозрачную воду...

Что-то зашумело вокруг, и сон оборвался. Проснулась Вера Володькой. Еще не совсем поняла, где она и что с ней, а уже вспомнила: она — не девчонка.

— Подъем! — гудела казарма.

— Вставай! — отзывались нары.

— Выходи строиться! — кричали двери.

Вера напялила армяк и треух, с трудом натянула ссохшиеся сыромятные обутки и покатилась на пол. Тут и увидела, что сосед — толстый Володька — все еще дрыхнет...

— Проснись! Да проснись же, идол!

— А? Что? Куда?

Сонные, охваченные промозглым ночным холодом, добровольцы суетливо строились на испятнанном лужами плацу. Кутались в одежонку, переговаривались.

— Чего взбулгачили?

— Ништо... Думал, к теще на блины пожаловал?

— Эх, придавить бы еще.

— Тут долго не держат, погостили — и хватит.

— Куда поведут? На чугунку?

— Так тебя, дура, необмундированного и повезут! Одеть, обуть надо.

— Без оружия не отправят!

— Значит, в чихауз.

— Деревня! Толком не скажешь. В цейхгауз.

— А ну... Раз-зговорчики прекратить. Разберись в колонну по четыре... Да быстрее, быстрее. Равняйсь. Смирна... Шаго-ом марш!

Под ногами чавкала грязь, постукивали булыжники. По сторонам черной стеной тянулись дома и глухие заборы. Шли молча, прислушивались к собственным сбивчивым шагам, к хриплым гудкам паровозов.

— Заворачивай во двор... Не расходиться!

— Что делать?

— Может, закурим?

— Я вам закурю! С огнем не баловать. Цейхгауз!

Что за цейхгауз? Вера разглядела длинный, вросший в землю каменный сарай под железной крышей. Приоткрылась тяжелая дверь, мелькнул неяркий свет.

— Заходи!

В паре с Верой оказался толстяк с затона, которого про себя Вера стала называть Настоящим Володькой. Перед ними открылось зрелище удивительное и доселе не виданное.

По правую руку, вдоль бурых кирпичных стен, в деревянных пирамидах стояли винтовки и ружья. Тут было собрано оружие едва ли не со всего света: и старые русские трехлинейки, и трофейные японские, австрийские, французские, бельгийские и всякие другие винтовки. Таинственно поблескивали вороненые стволы.

На деревянных щитах гроздьями висели шашки в ножнах. В ящиках лежали револьверы различных систем, окутанные густой смазкой. Пахло ружейным маслом, металлом, сухим деревом, кожей.

У Веры разбежались глаза. Дай ей волю...

— Чего уставились? Подходите,— проворчал седоусый каптенармус, приподнимая над головой фонарь и оглядывая подростков.— Фу ты, черт, опять мелкота. Вот вам по винту. Между прочим, двенадцать фунтов.

— Ничего,— отрезала Вера.— Не с такое нашивали.

— Давай бог... А то гляжу, ежели штык примкнуть, трехлинейка выше тебя будет. Куда только начальство смотрит, кого в строй берут.

«Вот раскипятился. Еще нажалуется». Вера схватила винтовку, а также полагавшиеся к ней две обоймы и поспешила перейти на другую сторону сарая, где выдавали обмундирование и амуницию.

Здесь возились подольше. Каптер копался в связках слежавшихся шинелей, гимнастерок и брюк, в горах ботинок и подсумков, шуршал, разворачивая штуки бязи, длинные черные полосы обмоток.

Ожидая очереди, Вера оглаживала свою трехлинейку. Приклад и ложе были отполированы чьими-то руками. Значит, винтовка уже побывала на войне.

При раздаче вещей, скользнув оценивающим взглядом по Вериной хлипкой фигурке, каптер заключил:

— Недомерок,— и стал выкидывать обмундирование.— Гимнастерочка более-менее, брючки потуже подвяжешь, шинелку укоротишь...

До самого утра добровольцы подгоняли гимнастерки, шинели, шаровары, прилаживали амуницию. Гимнастерку и брюки Вера ушила быстро, а с шинелью не знала, что и поделать. Резать не решалась, боялась, выйдет косо и криво. Такая же беда была и у Настоящего Володьки. Уже на рассвете к ним подошел пожилой солдат с рыжеватой бородкой. Обмундирование на нем сидело ладно, как пошитое на заказ. Ухмыляясь, поглядел на подростков, сказал:

— Ну, мученики, плохи ваши дела... Как зовут-то?

— Володя.

— И меня Володя.

— Так не годится, спутаться можно. Ты, кругляш, оставайся Володькой, ладно. А ты, веретено, будешь по-уральски Володьшей. Идет?

Распластав шинели на нарах, он вынул складной нож и острым, как бритва, лезвием в два счета ровнехонько отхватил от каждой полы по широкой полосе.

— Надевайте, Володька и Володьша... Так, теперь сойдет, дорогу заметать не станете. А сукнецо не бросайте, сгодится на теплые портянки. Вы хоть наматывать-то их умеете? Нет, поди? Ох-ох-ох... давайте научу.

На другой день, перед посадкой в эшелон, Вера вместе с незнакомым рослым добровольцем была послана в пекарню за хлебом. Наверное, тогда и увидела ее мать — Прасковья Дмитриевна. Увидела и тотчас потеряла.

МАРШЕВАЯ РОТА

Рота добровольцев прибыла на Чусовской завод.

На окраине городка, на крутой осклизлой горушке, продуваемая всеми ветрами, стояла длинная деревянная казарма. А за быстрой рекой тянулся пустырь, истоптанный солдатскими сапогами и ботинками. В казарме добровольцы лишь ночевали, по возможности согреваясь от холода и сырости, поспешно проглатывали скудный красноармейский паек. Поколотив о нары, обдирали ремешками черствую воблу, заедали ломтем сыроватого хлеба, запивали крутым кипятком. Ячневую кашу-размазню, коли случалось, днем привозили на пустырь, где от рассвета до полной темноты непрестанно шли учения.

— Ать-два, левой, левой!

— Правое плечо вперед... Марш!

— Стадо телячье, а не строй, равнения не вижу. Шаг, шаг печатай. Ать-два...

— Взво-о-од, на отдельный куст, перебежками, справа по одному...

Ботинки с налипшей грязью стали пудовыми, гимнастерка взмокла, над шинелью поднимался пар. «Деньденьской, как пилы на лесопилке, мотаемся туда-сюда, туда-сюда»,— думала Вера. На перекуре пожаловалась соседу-солдату с рыжеватой бородкой, что укорачивал шинели:

— Что мы, заведенные, что ли?

— Уходился парень? Рановато. Разве это наука? Всего-то четвертый день учат. Ты бы в царское время побывал на плацу, узнал бы, почем фунт лиха... Сейчас нужда спешить заставляет, а надобно не так.

— Как же?

— Годика два подрепетить. Каждый день на брюхе ползать, окопов полного профиля с сотню отрыть, а засим марш-марш верст этак на пятьдесят, а после — «лежа заряжай», вот и был бы полный комплект. А ты говоришь: как заведенные. Нет уж, братец, вы еще не заведенные, только так... чуток подкрученные.

— Кончай курить! Становись. Равняйсь. Шагом марш!

...Новенький прибыл в казарму позавчера с пополнением, и Вера сразу его приметила. На вид ему было,

как Настоящему Володьке, лет шестнадцать-семнадцать. Среднего роста, крепыш, лицо светлое, нос прямой, короткий, а глаза большие и синие-синие, глянет — искры сыплются... Строевая наука давалась ему легко, и взводный дважды его похвалил:

— Обратите внимание на добровольца Горбунова. Что шаг, что повороты. Отменно! Всем бы так-то.

Горбунов стоял по стойке «вольно», вовсе не замечал Веры, улыбался каким-то своим мыслям. «Иваном его зовут,— вспомнила Вера,— Ванюшей».

Учения продолжались и становились все сложней и трудней. Взводный и отделенные командиры редко давали передышки, заставляли добровольцев переползать по-пластунски, виться ужами по мокрой траве; укрываясь в яминах, маскироваться за кустарниками; согнувшись в три погибели, совершать перебежки; лежа, не поднимая голову, отрывать окопы; колоть штыками рыжие глиняные чучела. Вера едва переставляла ноги. Ныли спина, руки, не слушалась шея, а на ладонях вспухли багровые мозоли.

Обед привезли поздно. Есть перехотелось. Сама себе удивляясь (которую неделю голодала, а тут и в рот не лезет), она едва проглотила пару ложек размазни и склонила голову над почти полной чашкой. Разбудили ее громкие голоса:

— Ребята, газеты привезли!

— Давай мне, да поскорей.

— Не хватит каждому.

— Чудак, разорви пополам.

— Я те порву, прежде прочесть надо.

— Да грамотных много ли, поди, через одного.

Вера мигом вскочила на ноги и бросилась к двуколке, там на сене лежала толстая бумажная пачка, перевязанная бечевкой. Уж газеты-то по ее части, сколько она их перечитала! Еще осенью прошлого, семнадцатого года отец ей наказал бегать на станцию и встречать почту. Когда приходила столичная «Правда», она получала ее и несла домой, а по дороге читала. Не все понимала, конечно, слова попадались мудреные. Иногда пояснял отец, а до иных сама доходила. А когда работала в волисполкоме, то уж доставлять газеты было ее непременной обязанностью.

— Давайте мне, мне, товарищи! Я вслух, я громко, разборчиво, я могу!

— Вот и грамотей объявился.

— Читай, Володьша!

В пачке были московская «Правда», «Уральский рабочий» и газеты 3-й армии «Красный набат». Просматривая листы грубой, остистой бумаги, Вера обнаружила, что газеты далеко не свежие, недельной и двухнедельной давности. Она сказала об этом красноармейцам.

— Сойдет, новей-то нет ничего.

— Читай прежде, что на Урале деется.

На глаза ей попалась заметка «Бои под Тагилом». Начала с нее.

— «Последние бои под Тагилом,— бойко проговорила Вера,— отличались необычным упорством...»

Вокруг стало тихо-тихо. Добровольцы плотно окружили двуколку, на которой сидела Вера, и слушали внимательно и напряженно. «...Перейдя в атаку, наша пехота бросилась на броневой поезд, переколола прислугу и офицеров с погонами, находившихся на нем, и захватила поезд...»

— Здорово ударили!

— Крышка белой сволочи, каюк. Наступать будем.

Скользя глазами по бледно-серым строкам, Вера в другом номере нашла упоминание о знакомых местах — Тагиле, Верхотурье, Салде — и вскоре смекнула, что пока радоваться-то нечему.

— Постойте, постойте! — закричала она.

— Что?

— Слушайте: «...Белогвардейцы и белочехи, получив новое подкрепление в живой силе и вооружении, начали окружение наших частей, прикрывавших Нижний Тагил и Салдинский завод. 4 октября 1918 г. ввиду явного перевеса сил врага части Красной Армии и рабочие отряды вынуждены были оставить город Тагил».

— Вот тебе и на!..

— Как же это?

— Значит, отступаем?

Шли в казарму во мгле, под нудным холодным дождем. Командир приказал:

— Рота — песню...

Запевалы не было, да и вместе в строю добровольцы еще не певали.

— А ну, веселее, а то приуныли, орлы.

— Какие там орлы, курицы мокрые.

— Гляди орлами! Заводи, служба!

Затянул хрипловатым, но сильным голосом рыжебородый солдат, тот, который назвал Веру Володьшей. Песня была с германского фронта:

Горы-вершины,
Вас я вижу вновь!
Карпатские долины —
Кладбище удальцов.

Подхватили трое-четверо.

За хлопотами, учениями Вера мало думала о том, что же происходит вокруг, где и как идет война. А газета рассказала мало хорошего. Не только Тагил взяли белогвардейцы и эти невесть откуда появившиеся чехи, но и Салду, и Верхотурье, самый близкий ей уездный город, где гимназия, в которую метила она поступить. Захвачена и Лобва, с речкой, лесопилкой, с родными и друзьями. Где теперь тятя? А маманя с Сережкой? Остались ли в Нытве, увезли ли дальше? А она сама?

Мерно, мягко топая по грязи, шла маршевая рота, и в такт шагам Вера стала повторять и повторять, как бы вдалбливая себе в голову:

Ты — Володьша, ты — Володьша,
И никто ты, парень, больше.
Ты — Володьша, ты — Володьша...

Получилось даже стихами.

Вера поднялась задолго до рассвета, умылась дождевой водой из бочки, трижды перемотала обмотки и крепко-накрепко их завязала — не дай бог еще свалятся — и побежала получать патроны.

— Подсумков не брать,— услышала приказ взводного.

— Это почему?

— Чтобы лишних патронов не прихватили. Положено по пять штук. Одна обойма.

— Дак в кармане можно.

— Выверну. Лучше не пытайтесь.

Стрельбище устроили на том же пустыре, где проходили строевые учения. Ванюше Горбунову везло, будто в рубашке родился. Пошел стрелять одним из первых, вместе со старыми солдатами. Спокойно улегся у черты, ноги разбросал, локтями уперся, вроде даже попробо-

вал, прочна ли земля. Прижал приклад затылком к широкому плечу.

— Пли!

Опять-таки не спеша Ванюша нажал на крючок.

Трое и взводный побежали к щитам, и Вера увязалась за ними. Сразу — к мишени Горбунова. В самой ее середине, в маленьком кружке, увидела дырочку.

— Попал! Попал! — обрадовалась она.

— А то как же,— ответил Ванюша, не взглянув на нее.

Почти как фронтовые солдаты бил он с колена и стоя. Хоть и разбежались по мишени пробоины, а из большого круга не вышли.

Вере выпало стрелять вместе с Настоящим Володькой. Она хотела не спеша, как Горбунов, лечь у черты, да тяжелая винтовка потянула, и она плюхнулась, ушибла локти. Дальше пошло еще хуже. Винтовка качалась. Затыльник елозил по узкому плечу. Мушка прыгала перед глазами.

— Эй, парень, винт уронишь.

— Хладнокровнее, товарищ Холкин.

От неловкости и стыда она, не дожидаясь команды, дернула за крючок. Ее больно ударило в плечо.

Диво ли, что в мишени Вера не нашла пробоины. Все дырочки в серой бумаге были зачернены углем: попадали другие, но не она.

— За молоком,— махнул рукой взводный.

Настоящему Володьке тоже было нечем похвалиться. Выходит, она с ним сравнялась.

Горбунов смотрел на нее серьезно своими синими-синими глазами:

— Ты, Холкин, того, не гоношись, не дергайся, и все будет в порядке.

Стоя и с колена Вера стреляла куда уверенней, чем лежа, винтовку держала крепко, дыхание затаила, как учили.

— Ну вот,— взводный перекрестил угольком пробоины.— Можешь, Холкин, вполне...

— Мне бы еще патронку,— просил Настоящий Володька.— Еще одну, и я попаду.

— Нет. Остальные патроны — для беляков.

Боевых гранат добровольцам не выдавали.

— Покамест обойдемся учебными,— пояснил взводный.— Посмотрим, кто на что горазд.

В руке оказалась поржавевшая немецкая «бутылка». Вера разбежалась и, как прежде с поселковыми ребятами кидала через Лобву каменья, со всего маху швырнула гранату. Та полетела, кувыркаясь, и упала шагах в тридцати, намного дальше, чем у Настоящего Володьки.

— А у меня опять не вышло,— горестно вздохнул тот.

— А потому не получилось,— усмехнулся взводный,— что ты, дорогой товарищ, замах делаешь как баба... как женщина, то есть, из-за спины. Ты гляди, как кидает Холкин — даром что рука слабая, тебя перекинул. А почему? Потому, что замах у него мужицкий.

— Ай да Холкин. Ай да Володьша!

Вера была довольна. Никому и в голову не пришло, что она девчонка. Природный парень — и все. Даже замах мужской.

Тем же вечером ее еще раз отличили. Ротный вызвал к себе в канцелярию, что располагалась в домике железнодорожной мастерской. Ей поручили помогать писарю перебелять разные бумаги.

Высунув от усердия язык, она исправно писала, а сама обдумывала прошедший день. По всему выходило, что она может и маршировать, и бегать, и стрелять, даже гранаты бросать. Но вот беда, настоящего солдатского вида у нее нет и взять неоткуда. Руки тонки, бока звонки... Усы не отрастают... Эх ма!.. Разве что курить научиться?

Не худо бы, свернув цигарку, подымить да сплюнуть, поговорить о том о сем... Она пробовала курить, да неудачно. Начнет свертывать козью ножку — бумажка врастопырку, табак на землю сыплется. Срамота. Вот ежели бы завести мундштук, как у ротного. Тогда иное дело. А добыть его вполне возможно. Она даже знает, где взять. За спиной писаря, на подоконнике, горкой лежат медные трубочки, поблескивают в свете коптилки. В углу — верстак с тисками и напильниками. Ежели стянуть одну трубочку да подпилком по ней с обоих концов пройтись, то и получится фасонистый мундштучок, всем на зависть.

Попытка не пытка.

Улучив момент, когда ротный писарь вышел из помещения, Вера мигом схватила трубку, быстрехонько зажала ее в тисках и тихонечко провела напильником: ширк, ширк...

Кто-то сильный схватил ее за шиворот, рывком отбросил в сторону, и она пребольно стукнулась об самый угол писарского стола.

— Ой!

— Ты чего, варнак, делаешь?! — взревел ротный командир, наступая на оторопевшую Веру.

— Я... я... мундштук...

— Вон как. А из чего? Что это такое у тебя в руках?

— Н-не знаю.

— Зато я знаю. Из гранатного запала, басурман ты этакий. Вот ахнул бы твой «мундштук», и шары тебе вышибло... Дуй-ка ты в казарму и взводному скажи, чтобы завтра же гранату с вами изучил. Понятно тебе?

Глава шестая

ЗА ШИРОКОЙ СПИНОЙ

Падал мокрый снег, гонимый поземкой, скупо покрывал узкое дно извилистой траншеи. Снеговая жижа хлюпала под ногами. Промозглый, въедливый холод уральского предзимья пролезал под шинель, давил до ломоты в костях. Приподняв воротник, поглубже надвинув треух, Вера топталась меж крутыми, выше головы окопными стенками. Сколько ни гляди вправо и влево, увидишь только десяток соседей-красноармейцев, а вверху — уныло поникшие под снегом еловые лапы, черные вершинки, воткнутые в низкое мутное небо. Время от времени Вера, опершись на винтовку, дотягивалась до бруствера. Впереди в белесой мгле угадывалась опушка темного леса, снежные клубки кустов. Там, она знала, были неприятельские позиции. Оттуда постреливали, и пули глуховато взвизгивали, будто застревали в снеговой круговерти.

Бойцы невозбранно громко переговаривались. Ругали буржуев, белых офицеров, холод, жидкое шинельное сукно и долгое, никчемное сидение в окопах. Вспоминали прежнего ротного командира Грушина:

— Они в атаку пошли,— грея пальцы огоньком самокрутки, рассказывал пожилой боец,— а мы встречь двинули и их вышибли. А Грушин-то поперед нас бежал. Угнали их, стали в окопы возвращаться, а тут пуля — и прямо в него, в Грушина то есть. Вот ведь бывает, в

атаку бежишь — и ничего, хоть бы царапина, а, можно сказать, опосля боя, в затишье — наповал.

— И мертвому ему не повезло,— перехватил сосед.— Похоронили в Нижней Туре честь честью, залп над прахом дали. А белые обратно взяли Туру-то. Слух прошел, что могилу разрыли, над трупом надругались и сожгли.

Новый ротный, по фамилии Тырышкин, поспешно проходил по окопам, объяснял:

— Пойдем в атаку через час, готовьтесь. Собьем белых, возьмем село, обогреемся. Сигнал будет: красная ракета и свисток.

Протискиваясь боком, Тырышкин остановился около Веры. Был он выше среднего роста, лицо скуластое, смугловатое, бритое, но при коротких усах. Оглядел Веру с ног до головы, спросил:

— Кто такой?

— Красноармеец-доброволец Холкин,— еле шевеля замерзшими губами, ответила Вера.

— Н-да...— прищурился ротный.— Вот что, Холкин, пойдешь со мной, будешь связным. Шагай.

Бойцы говорили о нем: был на германской унтер-офицером, награжден Георгием...

Перед самой атакой, проверив патроны в барабане нагана, Тырышкин повернулся к Вере:

— Пойдешь в четвертую роту, передашь мою записку.— Тырышкин, склонившись над полевой сумкой, что-то настрочил карандашом на клочке бумаги.— Вот, не потеряй. И чтоб по-пластунски, а в лесу перебежками. Комроты-четыре тебе даст ответ. Держись прямо, до домика лесника. Ну, живо, марш!

Выкарабкавшись из траншеи, Вера поползла ужом по снежной мокрети и палой хвое, когда за спиной услышала негромкий свист, шорох и сбивчивый, все убыстряющийся топот десятков ног. Пошли!

Грянули и отозвались эхом винтовочные выстрелы, зататакал пулемет. Она была уже в глубине леса и бежала, когда за спиной раздался нестройный, прерывистый крик: «...А-а-а» — и густо запели пули. Может, потому, что Вера была одна, ей показалось, что пули, как злобные осы, кружат над ней, целят в нее. Пригнув голову, она вертелась меж деревьями, ища у них защиты, пока не выскочила на избушку лесника, вокруг которой в шалашах из елового лапника расположилась резервная 4-я рота.

Вера нашла командира и, пока он читал записку и писал ответ, прислушивалась к слитному тревожному гулу боя.

— Записку отнесешь к артиллеристам,— приказал комроты-четыре и объяснил, что в полуверсте, на прогалине, стоят две трехдюймовки с прислугой.— Дуй быстрей, парень!

Гул, выстрелы, неясные крики то приближались, то удалялись, глухо гудели деревья.

Командир-артиллерист в кожанке, выхватив записку, прочел и что-то скомандовал своим пушкарям, и те завозились у трехдюймовок.

— Пли!

Долговязый красноармеец, похожий на Серапионова, дернул за веревку. Пушка вздрогнула, плюнула огнем и, как живая, подскочила на колесах.

Четвертая рота, разворачиваясь в цепь, топоча, мчалась к опушке. За ней побежала и Вера...

Она догнала роту уже на околице села. Красноармейцы с винтовками наперевес обегали дворы, проулки, огороды, хлопали дверями изб, клетей, бань — не засел ли где беляк? Несли раненых, убитых. В одном из погибших Вера узнала пожилого красноармейца, который рассказывал о прежнем комроты. Седая, в мокром снегу голова была запрокинута назад. Время от времени ее бережно поднимал молодой боец.

Роты перемешались, и Вера с трудом нашла своих. Тырышкин, возбужденный, краснолицый, размахивал наганом. Увидев Веру, одобрительно кивнул головой.

— Иди сюда, Володьша,— позвал Горбунов. Он стоял на порожках избы и тряпицей тщательно протирал винтовку, по нескольку раз проводил по штыку, стволу, прикладу и снова по штыку...

— Ты как? — спросила Вера.

— Ничего.— На его побледневшем, осунувшемся лице прежде синие глаза казались темными, почти черными.— Гляди, вот, Володька...

Переваливаясь, подбежал Настоящий Володька. Шинель на нем была мокрая, грязная, топорщилась, подсумки съехали набок, а голова была непокрытой. Увидев ребят, растерянно улыбнулся и протянул им шапку.

— Вот...

— Что?

— Пуля...

— Где?

Он показал глазами на суконный верх шапки, прорезанный узкой бороздкой.

— Над головой прошла... Волосы дыбом встали...

«Даже толстяк Володька ходил в атаку,— с горечью подумала Вера.— А меня ротный услал подальше от настоящего боя. Все вперед, а я — в тыл».

Затихали выстрелы, крики, топот. Конные упряжки втащили в село трехдюймовки. Красноармейцы построились в ряды, группами разошлись по избам, на постой. Командиры выставили полевые караулы. На колокольню подняли пулемет.

Можно было отдохнуть и обогреться.

Глава седьмая

УРОК СЛОВЕСНОСТИ

На исходе октября 1918 года огромные пространства горнозаводского Урала полыхали сотнями больших и малых боев. Иные длились неделями, втягивая полки и дивизии, иные были короткими, как удар штыком. Непрочной, рваной была линия фронта. Она пересекала городки, рабочие поселки, села и железнодорожные станции, теряясь в глубинах темных предзимних лесов.

Самая острая борьба вспыхивала у железнодорожных магистралей. Они, как магнит, притягивали войска. Белогвардейцы, бросая в бой все новые и новые резервы, рвались к Кунгуру, Перми. Пятый месяц подряд, не зная отдыха, сражались, контратаковали части нашей 3-й армии. Обе стороны мертвой хваткой цеплялись за каждую станцию и полустанок: понимали, что хозяином положения будет тот, кто владеет «чугункой».

Ледяные ветры звонили в медные станционные колокола. Окутанные паром и дымом, пробитые пулями, паровозы впрягались в скрипучие составы и, натужно кряхтя, везли их на север, запад, юг, пока не преграждали путь залпы, взрывы, разобранные рельсы.

Темной ночью таежным проселком двигалась к железнодорожной станции Карелино стрелковая рота, в которой теперь служила Вера Кузницына, то бишь Володьша Холкин.

Шли долго. Очень хотелось спать. Даже отяжелевшая трехлинейка, котомка с боезапасом, сырая шинель и сползающие обмотки так сильно не мучили, как медленно, исподволь наплывающая дремота. Мертвели веки. Слепо ступали ноги, вынося из строя.

— Эй, Володьша! — толкнул ее в бок Петраков. Вера очнулась и озлилась на солдата, который ей и Володьке еще в Перми подрезал шинели.

— Ну, чего?

— Ай, Володьша, ты и вовсе непривычен к походам,— укоризненно пожалел Петраков.— Надо, брат, тебя разговорить, а то и впрямь захрапишь да свалишься невзначай, пропадешь один в лесу...

— С чего взяли? И не думаю спать,— огрызнулась Вера.

— Это точно, совсем не думаешь, а надо бы... Что ж с тобой сделать? Может, словесностью подзаймемся, а?.. Вот ответь-ка мне на такой вопрос: «В какой дивизии и в каком полку ты службу служишь?»

— В 29-й Уральской дивизии, 3-м Екатеринбургском полку.

— Правильно. А рота какая?

— Вторая... Командир Тырышкин Семен...

— Ничего. А кто есть бойцы твоего полка?

— Как кто? Ну, люди...

— Знамо дело, люди. Ить и у беляков — люди, хотя и зверья у них хватает... А у нас, темнота,— заводские пролетарии и крестьянские бедняки Екатеринбургского уезда... Ну и немало имеется фронтовых солдат, также происхождением уральских. В каких же боях участвовал наш полк?

— А в каких?

— Опять не ведаешь, а говорили, что Володьша-де грамотный, в гимназиях обучался... Так вот, наш полк геройски сражался под Нижним Тагилом и держался там до самой последней возможности. Ну, а когда отошел, то попал в бедственное положение. Отрезали его беляки вместе с Четвертым Уральским. Взяли, сукины дети, станцию Сан-Донато, а она, видишь ли, единственный выход на чугунку, и наши полки попали в кольцо. Вот какие дела.

— Что же дальше-то было?

— А то. Ударили наши уральцы что было мочи, под пулеметы и пушки пошли, а прорвались, отразили все

вражеские атаки да вышли на станцию Гороблагодатскую. Знаешь где?

— Угу.

— А потом воевали и под Салдинским заводом, и под станцией Выя... Между прочим, дивизия наша немало кого колотила. К примеру, белой чешской дивизии генерала Войцеховского наподдала... А потом под Салдинским заводом раздолбала белогвардейскую дивизию генерал-майора князя Голицына. Князь и тот не устоял...

— Откуда же вы это все знаете? Вас же там не было. Вы же, как и я, с маршевой ротой пришли?

— Сплю тебя помене, оттого и знаю поболе. Понял?

Вера кое-как переборола сон. В голове стоял туман, а ноги шагали сами по себе. В лесу было безветренно. И вроде бы теплее.

Обгоняя роту, поторапливая бойцов, широким шагом прошел Тырышкин, и Вера обратила внимание на то, как ловко сидит на его коренастой фигуре бывалая, небось с германского фронта шинель. Подумала: «Как не устает мотаться туда-сюда, как маятник?»

Впереди колонны, возносясь над ней, чернела конная фигура. На единственной в роте лошади, низкорослой, пузатенькой, предназначенной, как понимала Вера, для ротного командира, почему-то восседал его помощник Шабунин. Ехал всю дорогу, не слезая.

— Дядя Петраков,— спросила она.— Отчего Шабунин на коне, а ротный пеша? Куда это годится. Барин он Шабунин, из графьев, что ли?

— Ишь ты, углядел,— рассердился Петраков.— Ну, во-первых, я тебе не дядя, а товарищ красноармеец. А с завтрева, между прочим, буду и старшиной роты. Приказ такой имеется, осталось имущество принять и в должность вступить. Тогда я тебе и покажу «дядю»... А во-вторых, Шабунин Александр не из каких-нибудь графьев, а доподлинный рабочий из Перми. Мотовилихинского завода слесарь, а также солдат-фронтовик. Что же касаемо лошади, то едет он верхом по причине пулевого ранения. Ногами с германской мается... Думать надо, Володьша!

— Да я что, я так...

На станцию Карелино пришли утром и без задержки погрузились в железнодорожный эшелон. Коротенький, в четыре теплушки и одну платформу, он вскоре дви-

нулся на север. Приказано было глядеть в оба. Бойцы-наблюдатели забрались в будку машиниста, дежурили на тормозных площадках, пулеметчики поставили свой «максим» на платформе. Петраков, вступивший в должность старшины, держался важно и хлопотал в углу вагона, распределяя патроны и хлеб. Вера обратилась к нему с вопросом:

— Товарищ старшина, а куда мы едем?

— Куда? На пожар.

— Это как?

— А так. Мы теперь навроде пожарной команды: где огонь — туда и мы...

Вскоре Вера поняла, что означают эти слова.

Не прошло и двух часов, как заскрипели тормоза, задрожали, звонко толкаясь буферами, вагоны. Отрывисто засвистел паровоз. Едва эшелон остановился, как из раскрытых дверей высыпались красноармейцы и пали на насыпь. От паровоза донесся голос Тырышкина:

— Путь разобран... Засада.

— В цепь! — крикнул Шабунин.— Прочесать лес.

Как и другие добровольцы, Вера прижималась к насыпи, ползком и бегом ныряла в придорожный подлесок; таясь за стволами, высматривала, где укрылся враг. Отгибая ветки, оглядываясь вправо, влево — не потерять бы соседа,— вскинув винтовку, пробиралась чащобой.

Фронт был везде. На станциях и полустанках, в придорожных поселках добровольцы находили страшные следы вражеских налетов. У водокачек, на сельских улицах лежали трупы коммунистов, красных бойцов, рабочих и селян. Тела повешенных и расстрелянных были изуродованы. А сколько могил с деревянными крестами и свежеоструганными столбиками перевидала Вера за неделю эшелонной войны! Одна из могил особенно запомнилась ей.

— Видать, еще с августовских боев,— сказал старшина Петраков, смахнув рукавицей снежок с креста, к которому была прикреплена белая дощечка с надписью.— Прочти, Володьша, что написано.

Вера прочла:

«Товарищи, в этой сырой могиле покоится тело солдата, который боролся с открытой душой за счастье пролетариата, он пал, отбиваясь от своих палачей, за землю, за хлеб и за волю. Отдайте павшим героям

поклон, дайте клятву народу, что все готовы к сражению с врагом, как он, умереть за свободу».

Бойцы сняли шапки.

— Слушай, Ванюша,— сказала Вера Горбунову.— А ведь у меня тятя тут воевал... летом...

— Ну что ты,— перебил ее Иван.— И не думай. Выбрось из головы. Верить надо, что живой отец и, как мы, бьет белых...

— А я и верю...

И все же Вера всегда пристально всматривалась в лица погибших красноармейцев.

Глава восьмая

ШЕСТЬ ВИНТОВОК

В первых числах ноября рота Тырышкина, доселе отражавшая короткие налеты белогвардейцев, была вынуждена вступить в тяжелый бой, который длился почти целый день.

Густой сумрачный лес, подступивший к полотну, искрился выстрелами. Вздрагивали, роняя с ветвей снег, ели и сосны. Казалось, еще минута — и огненная стена навалится на роту, захлестнет и сметет ее прочь. Вера вжимала голову в плечи и дрожащими пальцами пыталась нащупать рукоятку затвора. И вдруг раздался властный голос Тырышкина:

— Ба-а-тальон! Слушай мою команду!

«Почему батальон?— мелькнуло у Веры,— Ведь нас только рота?.. Да, так нужно... Пусть думают, что нас много».

— По врагам революции... Залпом...

Вера перевела дыхание. Уткнула локоть в мерзлую землю. Прижалась щекой к прикладу.

— Пли!

За первым залпом грянул второй, третий... Они звучали так дружно, и пули свистели так густо, что у Веры появилось ощущение сплошной стены огня. Стенка на стенку! И она поверила в свою силу, в то, что беляков не подпустят к эшелону.

Перестрелка продолжалась. Уже не залпы, а одиночные, прицельные выстрелы хлопали по лесу. Развиднелось, и бойцы тщательно выбирали цели. Сдержи

вая волнение и страх, Вера стреляла по неприятелю. Кто знает, попала ли.

— Володьша, патроны береги! — крикнул Горбунов.

— Сам знаю,— осмелела она.

К полудню неприятельская цепь стала откатываться от чугунки. Кто-то сзади толкнул Веру в плечо. Она оглянулась и увидела помкомроты.

— За мной!

Она поползла за Шабуниным. К нему стягивались и другие бойцы. Десятка полтора. Среди них были Горбунов и Настоящий Володька.

— Атакуем во фланг,— негромко говорил Шабунин, раздавая гранаты.— До поры не шуметь, чтобы ни звука... А когда ударим, кричи во всю глотку «ура»...

Они скатились с насыпи и под ее прикрытием пробежали саженей триста, потом снова пересекли полотно и долго ползли к неширокой прогалине, белевшей в кустах. Шабунин пружинисто присел и прыгнул, выставив перед собой винтовку. И тут Вера увидела, как Шабунин принял на штык грузного белогвардейца, выскочившего им навстречу.

— Вперед! Ура!! — закричал помкомроты и, припадая на больную ногу, кинул гранату. Его примеру последовали бойцы. Широко, по-мальчишески размахнувшись, бросила и Вера. Только Настоящий Володька замешкался. Горбунов выхватил у него «бутылку» и бросил вслед за другими.

Фланговый удар удался на славу. Белые заметались и под натиском основных сил роты, которые повел в атаку Тырышкин, начали отходить.

В шуме, топоте, грохоте выстрелов и гранатных разрывов Вера не услышала короткого вскрика Горбунова. Она увидела, как тот внезапно и как-то слепо остановился и, уронив винтовку, прислонился к сосне.

— Ты чего?

Меловой белизны лицо Вани покрывали крупные, как градины, капли пота.

— Ранен, перевяжи.

Он с трудом, будто та весила пуд, протянул ей левую руку. Вера растерянно уставилась на суконный рукав и едва разглядела в нем круглую дырочку.

— Режь. Нож в кармане.

Разрезала шинель и гимнастерку, уже напитавшиеся кровью. Сладковатый запах мутил сознание.

— Рви рубаху на бинт.

— Не надо. У меня платок есть... Большой, мамкин...

— Ну давай. Перетяни тут. Повыше... Сильней... Фу ты,— он подобрал правой рукой винтовку.

— Я тебя в вагон отведу...

— Беги за Шабуниным.

— А как же ты?

— Сказано, беги,— скрипнул зубами Горбунов.— Доберусь.

Пока она перевязывала Ивана, бой углубился в лесную чащу. Вера потеряла из виду Шабунина и других бойцов. Только по вздрагивающим еловым вершинам, по разрозненным выстрелам и вскрикам она определила, куда бежать.

Местность была холмистая, с оврагами, крутыми косогорами. Бежать было трудно. К тому же Вера заметила, что выстрелы доносились с разных сторон: видимо, бойцы преследуют отходящих порознь беляков. Куда же ей повернуть? Короткая, приглушенная расстоянием пулеметная очередь заставила ее броситься влево, а выкрики послали вправо. Но вдруг она поняла, что опасно метаться из стороны в сторону, лететь очертя голову: можно напороться на вражескую пулю.

Вера перешла на шаг. Прислушиваясь и оглядываясь, старалась разгадать значение голосов утихающей стычки.

Вскоре бой и вовсе смолк. Шумел только лес, полный таинственных шорохов и скрипов. Вера долго плутала, пока не выбралась на неширокую поляну, поросшую редким кустарником, и замерла от неожиданности.

В середине поляны снег был изрыт воронками, испятнан бурыми комками земли, усыпан рваными осколками гранат. Еще не развеялся едкий запах гари. На земляном крошеве, перемешанном с подтаявшим снегом, лежали шесть трупов. То были белые солдаты. Смерть прихватила их на бегу, бросила навзничь, разметав полы шинелей, разбросав серые папахи.

Веру охватило какое-то странное любопытство, захотелось рассмотреть лица убитых. Но, едва взглянув, зажмурилась: страшно. Да и некогда глазеть, надо быстрее найти своих. Может, Тырышкин уже собрал роту и увел к поезду.

И тут ее внимание приковали винтовки, валявшиеся рядом с убитыми.

Подумать только, целых шесть винтовок, шутка ли! В роте Тырышкина, да и во всем Екатеринбургском полку, оружие было далеко не у всех. Когда пришло пополнение, ротный сказал: «Винтов, извиняюсь, не хватает, добудете у беляков».

Не оставлять же в лесу. Конечно, оружие надо прихватить. Вера быстро сложила трофейные винтовки. Обхватив их в беремя, попыталась поднять и понести. Но не получилось. Тяжелый груз согнул ее, потянул к земле, едва не упала. Догадалась взять винтовки за ремень, по три штуки на каждое плечо. Вышло получше. Хоть и неловко — ремни сползают с узких плеч,— но удержать можно, если свою трехлинейку обхватить обеими руками, как палку, и прижать к животу. Ох, сколько же в них весу? Прикинула. Если двенадцать фунтов помножить на шесть... Нет, на семь, своя-то тоже тянет, то выйдет... ой-ой-ой... целых два пуда! Увидел бы ее знаменитый в Лобве грузчик Павлов, уж, верно бы, похвалил: «Ну, Верка, становись со мной в пару, будем доски грузить». Куда же, однако, она идет? Так недолго и заблудиться, вместо своего эшелона угодить белым в лапы. Отогнать-то отогнали, а кто знает, сколько еще их тут бродит?

Лес не выпускал ее. Расстояние, казавшееся близким, когда шли в атаку, теперь отчего-то растягивалось. Следы поднимались на крутой холм, и Вера с нетерпением ожидала, что, взобравшись, сразу же увидит красные вагоны и запряженный в них паровоз. Но перед ней опять встал глухой лес, и стежки следов побежали в овраг, откуда, кроме крутых кремнистых берегов, перепутанных корневищами, ничего не было видно.

Она выбралась из оврага, когда за деревьями ударил тревожный гудок паровоза.

Неужели уезжают?! Без нее? Она останется одна-одинешенька. Вернутся белые. Схватят. Станут пытать и мучить, как тех бойцов, что попались им в плен. Нет, уж лучше пострелять по ним из всех винтовок, а последнюю пулю — себе...

Изнемогая от тяжести и боли в спине, она выскочила на опушку.

Эшелон стоял на месте. Но паровоз был под парами.

— Эй, эй! — что было силы закричала Вера.— Не уезжайте, погодите. Я здесь, я здесь!

От маленькой Веры, от больших винтовок с примкну-

тыми штыками на синеватый снег ложилась странная тень — какая-то причудливая птица с рваными крыльями, которая старается, но не может взлететь.

Она опять прокричала: «Я здесь!» Но разве могли ее услышать за ревом пара, за свистом гудка?

Тогда она перехватила свою трехлинейку и нажала на спусковой крючок. Грохнул выстрел. Вера передергивала затвор и палила еще и еще...

От теплушек навстречу ей заспешили люди. Вера узнала Шабунина, старшину Петракова и Настоящего Володьку.

«Здравствуй, дорогая моя маманя Прасковья Дмитриевна. Низко кланяюсь, целую несчетный раз и желаю всего наилучшего, а главное, здоровья. Пишет вам ваша непутевая дочь Вера, но теперь уже не Вера, а Володя. А прозвали меня Володьшей, так все и кличут, только командир роты товарищ Тырышкин иногда называет по фамилии — Холкин. Я теперь есть красноармеец-доброволец 2-й роты 3-го Екатеринбургского полка. В полку служат уральские рабочие и крестьяне, все они из наших краев, потому и называемся — Екатеринбургский. Полк наш воюет больше пяти месяцев, но и разу не отдыхал, а все бьет белых гадов под Нижним Тагилом и Салдинским заводом да на железной дороге на станциях Кын и Унь, ты их знаешь. Но в тех боях мне бывать не пришлось. Зато теперь я уже участвую. Ты не думай, что я боюсь. Я уже привыкла. А недавно ротный командир Тырышкин Семен Иванович даже меня перед всей ротой похвалил и руку пожал за то, что я с поля боя принесла шесть неприятельских винтовок. Похвалил меня и Ванюша Горбунов, молодой боец, с которым я дружу, потому что он честный, прямой, смелый, из себя очень красивый. Он был в том бою раненый, но в околоток не поехал, а остался в роте. А другой мой товарищ даже мне позавидовал. Зову я его про себя Настоящим Володькой (ведь я-то Володька ненастоящий), он смешной, растяпа, но добрый, а толстый потому, что у него кость широкая. И еще меня поздравил с успехами старшина Петраков, он мне как отец родной, все помогает и советы дает. Гляжу я на него и вспоминаю нашего тятю. Где же он и что с ним? И что с Сережкой и с тобой? Если бы у меня были крылья, прилетела бы я к

вам, да крыльев нет, а каждый день, а то и ночь стычки да перестрелки, и еще в караул надо идти. За меня, дорогая маманя, не беспокойся. Я теперь доподлинный солдат.

Засим остаюсь твоя любящая дочь Вера».

Это второе письмо матери Вера сочинила, как и первое, в вагоне мысленно... Потом она обо всем расскажет мамане, обо всем как есть.

Глава девятая

САХАРНОЕ ЧУДО

Село Голубиха залегло в непроглядном таежном углу, в стороне от железной дороги. Ели, сосны, осины подступали к самой поскотине так, что путники, пробираясь малоезженым проселком, лишь у самого прясла догадывались, что попали в селение. Даже кряжистая, невысокая церковка, прикрытая деревьями, была неприметна.

Бойцы Тырышкина пришли в Голубиху пешим маршем и разместились по избам. Стянулись сюда и еще некоторые роты 3-го Екатеринбургского полка. Красноармейцы недоумевали: то ли вывели на отдых, что весьма сомнительно, то ли происходила перегруппировка войск. Говорили, что с востока большаком движутся колчаковские части и 3-й Екатеринбургский должен встать на их пути. Будто белогвардейские дозоры рыщут вблизи и местные богатеи вступили с ними в связь. В селе было тревожно.

Вера с полуночи была на ногах. После истории с винтовками Тырышкин и Шабунин всячески выказывали ей внимание и даже уважение. Ротный назначил ее вестовым, и она бегала по селу с приказаниями и распоряжениями, ходила с записками в полевые караулы. Только утром ей было разрешено отоспаться, и она поспешила в избу, где вместе с подростками, словно дядька при них, встал на постой и старшина Петраков.

Забежав в сени, она услышала хохот и громкие женские голоса:

— Тебе что, повторять надо: раздевайся... Ну не тяни волынку!

— Как это раздеваться? — испуганно спрашивал Настоящий Володька.

— А так. Осматривать будем... Эх ты, поросеночек розовый, медицины не видел?

— Ни за что. Помру — не разденусь.

— Это все предрассудки, пузырь ты этакий. Будешь сопротивляться — применим силу.

Послышались возня, сопение, смех.

Слева, в боковушке, сидел старшина Петраков. Улыбаясь в рыжие усы, он работал — ушивал яловый сапог.

— Что там? — спросила Вера.

— Сестры милосердные над Володькой шпакурят. Иди-ка, и за тебя примутся.

Вера похолодела. Этого еще недоставало. Попадешься как кур в ощип.

— Тоже, смотрю, не на шутку струсил? — удивился Петраков.

— Вот еще, ни на эсколько,— взбодрилась Вера, а сама думала: «Ни за что не дамся, ни под каким видом. Буду лягаться, кусаться, но не позволю». Старшине же сказала: — Не охота мне что-то, да и в избе студено.

— Дурачок, не трусь. Будь, Володьша, похитрей. Ладно уж, научу. Зайди-ка да скажи этим охальницам: «Пожалуйста, с превеликим удовольствием сниму перед вами исподнее», а сам тотчас расстегивай ремешок...

— И что?

— И все. Убегут как ошпаренные. Им ведь больше подурачиться...

— А если не убегут?

— Тогда подсоблю.

Вера хоть и робела в душе, решила последовать совету старшины.

— Здорово! — выкрикнула она, входя в большую комнату. В углу, у божницы, сжав кулаки, стоял Настоящий Володька, а на него наступали две веселые краснощекие девахи в шинелях, с санитарными сумками.

— Здорово! — повторила Вера.— А мне можно осмотр пройти? А то чего одному Володьке, и я желаю,— и сделала то, чему научил Петраков.

Сестры милосердия вытаращили глаза и замахали руками:

— Ну, парень, ну, жох...

Хихикая, они отказались от осмотра:

— Уж очень ты худой, глядеть не на что. В другой раз, когда жирок нарастишь.

— То-то,— смеялся им вслед старшина.— Слушай науку. Я ведь и Володьку учил, да тот тюхтяй, а ты, Володьша, смикитил.

Не прошло и часу, как Петракова вызвали к ротному. Он вернулся озабоченный и приказал:

— Володьша, за мной... И еще крикни двух бойцов.

— Куда, товарищ старшина?

— Обыск у попа будем делать. Чтой-то подозрителен нам долгогривый...

— А можно Володьку взять? — попросила Вера. Ей было жаль товарища, которому во всем не везло и сегодня снова пришлось выдержать обидные насмешки.

— Ладно. Пошли.

...Дом голубихинского священника был очень богатым. Даже у купчихи Шарновой, у которой мать состояла в прислугах, Вера ничего подобного не видала. В поповском пятистенке с высокими, обшитыми гладким тесом потолками была просторная, оклеенная цветастыми обоями зала, спальня, еще какие-то комнаты и комнатушки.

В спальне стояла настоящая железная кровать с круглыми блестящими шарами, в которых смешно отражались лица; к стенке прижимался пузатый комод, в зале красовался одетый синим бархатом диван. Широченный обеденный стол покрывала роскошная скатерть с кистями. Плетеные стулья присели на гнутых ножках. Ярко светился золотыми и серебряными окладами икон высокий киот. На подоконниках, на подставочках стояли горшки с цветами.

Перекрестившись на образ Николая-угодника, старшина Петраков обратился к священнику:

— Признайся нам, батюшка, откровенно, ты за кого стоишь: за красных или за белых? Говори как на духу, обижать не станем.

Еще не старый, с черной как смоль гривой и окладистой бородой, священник торжественно ответил:

— Я, граждане, ни за красных, ни за белых, знать я таких не знаю. Единственно я за господа бога всемогущего, его слуга и воин.

— Так. Ну вот, а нам известно, что ты, батюшка, якшался с врагами нашими и в предвидении их прихода хранишь оружие и золото.

— Наветы это,— возмутился священник и истово перекрестился.— Так глаголят люди неосведомленные.

— Мы вынуждены произвести обыск.

Из спальни узкими слезящимися глазами следила за бойцами попадья и зло смотрела рыжеволосая молодая красавица, попова дочка.

Вера и другие бойцы, вдыхая запахи лампадного масла, белья, сухого дерева, духовитого мыла, ворошили в ящиках комода тонкое белье, перебирали в сундуке платья с оборками, пышные юбки, салопы, халаты, мягкие шали, шитые золотом поповы рясы.

Разбирая дорогие, невиданные вещи, Вера снова почувствовала себя девчонкой. Что там говорить, приятно было хотя бы потрогать шали и бархат, шелк и шерсть; эх бы, еще прикинуть платье на себя да поглядеться в зеркало, что в темной раме светится в простенке.

Ну чего у них, у Кузницыных, было в лобвинской избе? Одна комната, четыре голые стены, сбитая тятей из струганых досок, некрашеная кровать с выносившимся лоскутным одеялом, топчан, пустой стол с изрезанной ножами столешницей. А из вещей — много ли? Два платьишка, исподнего смена, сыромятные обутки, отцов единственный приличный костюм, сапоги... Да еще синее пальто, сшитое по случаю поступления в гимназию, которое в Перми выменял Костя Серапионов на рыбный пирог...

— Ничего не брать,— строго напомнил старшина.

— Знаем,— сказал один из бойцов, чернявый и худой.— Про то комиссар на митинге говорил.

Осматривали не спеша, осторожно.

Вдруг от окошка донеслись стук и треск. Все встрепенулись.

У подоконника, растопырив толстые руки, испуганно поджав губы, стоял Настоящий Володька. У его ног валялись черепки разбитого цветочного горшка, и в кучке черной земли зеленел поломанный фикус.

— Само так вышло,— промямлил Володька,— я, ейбогу, не виноват.

— Ах ты недотепа, ешь тебя мухи с комарами,— выругался Петраков.

Внезапно выражение Володькиного лица резко переменилось. Глаза удивленно расширились, и он ткнул пальцем в кучку земли на полу.

— Вон там...

— Что там?

— З-золото...

В россыпи чернозема под фикусом блестящей змейкой растянулись монеты и валялся шелковый мешочек. Старшина кинулся к находке, собрал в стопку царские десятирублевки, аккуратно положил на стол, высыпал содержимое мешочка. То были кольца, браслеты, перстеньки с драгоценными камушками.

— Взять под охрану долгогривого,— приказал Петраков.— А ну, заглянем в эти хитрые горшки. Бейте!

Цветов было жалко. Но Вера колотила прикладом, раскрывала поповы тайники. В них оказались не только деньги и ценности, но и оружие. Три револьвера. Один — коротенький вороненый с круглым барабаном «бульдог» — Петраков разрешил взять Вере.

— Пользуйся пока, а там разберемся.

Петраков пересчитал монеты и велел описать все браслеты и кольца.

— Зарегистрируй, Холкин, досконально.

— Через эдаких попов,— промолвил чернявый худой красноармеец,— и бога потеряешь...

Осмотр продолжался. Вера с Петраковым и Володькой зашли в конюшню. Там стояли две лошади. Первая — низкорослая крестьянская кобылка — никакого интереса не представляла. Но второй — конь — показался просто чудом.

То был писаный красавец: высокий, сахарной белизны, с единственной черной меткой на лбу, тонконогий, стройный жеребец. Казалось, конь попал в эту попову конюшню прямо из сказки.

— Вот это да! — воскликнул Петраков.— В гвардии ему служить... А может, и служил...

Этакого скакуна Вера не видела и во сне. С раннего детства лошадница, с шести лет ездила охлюпкой на заводской лошадке. Она ходила за ее хвостом, как за материным подолом, и ребятишки прозвали кобылку Мать-моя. Девочка мечтала о прекрасных сказочных конях. Она представляла их именно белыми, как сахар, высокими, с гордо развевающимися гривами, в драгоценных оголовьях, под золотыми седлами и чепраками, такими, какими видела на рисунках в книжках русских сказок.

А в годы германской войны, в бесчисленный раз перелистывая замусоленные страницы «Нивы», которую получал дядя — Никита Кузьмич Ренжин, в Верхотурском синематографе, впиваясь глазами в экран, она ви-

дела безумной смелости казака Кузьму Крючкова с копьем наперевес и под ним быстроногого стремительного, сильного и неуловимого боевого коня...

Но такое белоснежное чудо не представлялось ей и в мечтаниях!.. Она подошла к жеребцу. И тут за оградой, на улице, грянули выстрелы. Раздались крики...

— За мной! — скомандовал Петраков и бросился из конюшни.

Белогвардейцы прошли глухими проселками и, значительными силами сбив наши полевые караулы, ударили на Голубиху. Село не удалось удержать. Красные роты 3-го Екатеринбургского полка отошли в лес. Но к вечеру была предпринята решительная контратака и неприятеля выбили из Голубихи.

Вернувшись в село, Вера, Настоящий Володька и старшина Петраков первым делом кинулись к попову дому. Вера забежала во двор, заглянула в конюшню, надеясь увидеть белого красавца. Но его не было. Рядом с крестьянской кобылкой в конюшне стояло кем-то оставленное страшилище. Только и славы что высок, грудь, как у битюга, а на широкий круп телегу поставить можно, ноги коротковаты, кривоваты, морда маленькая, неприбранная грива спутана... Фу ты...

— Ну и чертовщина!

— Вот уж как в сказке, злой волшебник переколдовал...

— Да,— пожалел Петраков.— Был белый жеребец, по всем статьям гвардейского происхождения... Где же он теперь? А несомненно, скачет на нем какой-нибудь проклятый золотопогонник.

В избе не оказалось ни попа, ни попадьи, ни поповой дочки.

Глава десятая

«ВЫДАСТ ИЛИ НЕТ!»

Новый день застал Веру на кордоне Буйный в избушке лесника. Рота Тырышкина ночевала в шалашах из елового лапника, а подростки вместе с ротным начальством — под крышей. Вера дремала на полу, завернувшись в шинель, когда по порожкам застучали, забрякали сапоги с железными подковками и шпорами,

скрипнула дверь и вслед за морозным ветром в избу ворвался высокий и статный кавалерист. Вера подняла голову. Как все-таки вошедший отличался от пехотинцев! Длиннополая шинель облегала плотную фигуру, короткий ствол карабина будто рос из плеча. Лихо сдвинута на затылок барашковая шапка, одна рука придерживает шашку, другая играет плетью.

— Где командир?

— А что?

— Побыстрей. У меня пакет. Аллюр три креста!

— Я командир,— отозвался Тырышкин.

— Документ?

— Держи.

— Так. Получите пакет. Распишитесь.

Вера привстала, чтобы получше разглядеть кавалериста. Она впилась в него глазами и, тихо охнув, зарылась лицом в треух. Вера с радостью и ужасом узнала в коннике Михаила Тюляева, Мишку, лобвинского соседа Кузницыных. Батюшки мои! Ведь они вместе работали на лесопилке. Миша на лесопильной раме, а она на лесной бирже, и дома их близко, и Михайлова сестра, тоже Вера, была ее ближайшей подругой, учились в одном классе приходской школы. Миша старше ее лет на пять-шесть. Веселый, развитой парень — что работать, что на гармошке играть, что песни петь или плясать — на все горазд.

Только бы не заметил. Узнает — скажет: «Здравствуй, Верка» — и крышка.

Она лежала ничком, изредка из-под полуприкрытых ресниц взглядывала на Тюляева.

Тырышкин вскрыл пакет, внимательно прочитал, немного подумал и позвал:

— Холкин. Ко мне!

«Началось,— сжалась Вера.— Сделать вид, что сплю, может, ротный отвяжется, пошлет Настоящего Володьку?» Но Тырышкин повторил с гневными нотками в голосе:

— Володьша!

Делать было нечего. Вера медленно встала, ответила:

— Слушаюсь. Сей момент.

Оттягивая разоблачение, не спеша надела шинель, тщательно застегнула все крючки, заправила ремень под хлястик, поглубже надвинула треух (авось не

узнает!) и, откозыряв, нарочно громко и четко, чтобы понял Михаил, доложила:

— Красноармеец-доброволец Холкин.

— Одна нога здесь, другая — там. Вызови мне старшину, взводных, пулеметчиков.

Она слушала вполуха. По изумленному взгляду Тюляева поняла: узнал.

— Сей момент,— заторопилась она и с отчаянием обреченной шагнула вперед, прямо к Михаилу, и приложила палец к губам. Лицо Тюляева тронула усмешка.

«Выдаст или нет?»

Не чувствуя холода, Вера обегала шалаши, созвала всех, кого велел комроты, а потом поплелась в избушку лесника. У коновязи, рядом с серой кобылкой Шабунина, был привязан низкорослый башкирский конек под казачьим седлом. Возле него хлопотал Тюляев.

«Выдал или нет?»

— Миша! — кинулась к нему Вера.— Сказал про меня?

— А как же? Так все и выложил: «Глядите на Верку Кузницыну!» — Тюляев притопнул сапогом, звякнул шпорами и негромко, озорно пропел: — Э-эх... Была девка, парень стал...— А потом сказал: — Дура ты немазаная, Веруха. Своих, лобвинских, не знаешь.

— Так я не Вера, я теперь — Володьша.

— Стало быть, не дура, а дурак.

Испуг прошел, и она заговорила спокойнее:

— Понимаешь, Миш, не брали девкой-то, а парнем взяли, пришлось перекреститься. Фамилия моя теперь Холкин...

— Эх, положить бы тебя на коленко да всыпать маленько. Мать, поди, убивается... Ладно, я все понимаю. Толк-то от тебя хоть есть какой?

— Есть, есть. Я — на хорошем счету, вон командир с донесениями посылает... В атаку, между прочим, ходила.

— Ладно. Сделано — не переделывать, держись до победы... Ты про Лобву слышала?

— Нет, не в курсе. Про тятю знаешь что?

— Нет...

Тюляев помрачнел:

— Лютуют в Лобве беляки. Рабочих пачками хватают. Приходили люди из отрядов, сказывали — которых порют, которых стреляют. Главных-то наших боль-

шевиков к стенке поставили. Анисима Власовича Ханкевича убили. Над Андреем Андреевичем Христофоровым всяко изгалялись. Мертвого на помойку бросили, к трупу ни родни, ни знакомых не подпускали, похоронить не дали. Зверье.

— Вот видишь. Где же мне и быть, Миша, как не на войне?

— Что ж, твоя правда. Только ты знай свое место, слишком-то не высовывайся, понимай, что к чему... Ну, бывай, Володьша. Я поскакал.

Михаил дал шпоры. Башкирец резво взял в галоп.

Все сложней становилась боевая обстановка на Северном Урале. После некоторых успехов во второй половине октября частям и соединениям 3-й армии, в которую входила и 29-я Уральская стрелковая дивизия, пришлось грудью встретить тяжелый наступательный удар белогвардейцев. Колчаковское командование учло слабость Лысьвенского направления и решило разбить оборонявшую его обессиленную Особую бригаду и отрезать 29-ю Уральскую дивизию в районе Кушвы, занять станции Лысьва, Кузино, а оттуда наступать на Пермь. Для этой цели колчаковский генерал Гайда сосредоточил в районе станции Кузино стрелковый корпус.

Но красные части опередили белогвардейцев и внезапным ударом нанесли им поражение. Захватили штаб 1-й Сибирской колчаковской дивизии, взяли большое количество трофеев, в том числе бронепоезд. Были снова освобождены завод Кын, станция Кын и Унь.

3-й Екатеринбургский полк готовился поддержать этот удар, он находился севернее района наступательной операции. То выходя на Горнозаводскую магистраль, то отрываясь от нее и углубляясь в чащи таежных лесов, подразделения полка нередко продвигались в непосредственной близости от противника. Иногда они проходили по параллельным лесным дорогам, иногда их курсы сходились, и тогда вспыхивали неожиданные стычки. Случалось, что подразделения белых и красных располагались в соседних деревнях, на разных берегах рек. Только хорошая разведка — зоркие глаза и чуткие уши — помогала красным командирам добиваться победы, избегать напрасных потерь.

В пакете, который привез Михаил Тюляев на кордон Буйный, было сказано о том, что приближается белогвардейская часть. Но где она находится в настоящий момент, этого не знали ни ротный Тырышкин, ни его помощник Шабунин. В избе лесника Вера услышала их разговор.

— Не верю я что-то конному разъезду,— говорил Шабунин.— Вернулся быстро и доложил смутно: нет, мол, беляков в ближайшем селе. Поди, и не доехали.

— Какой ты, Саша, недоверчивый,— ответил Тырышкин.— Все-таки разведка полковая, не соврут. Впрочем, как говорится, доверяй, да проверяй. Можно и своих послать. Что предлагаешь?

— Село большое, из конца в конец добрая верста. Я бы послал в один край трех-четырех пехотинцев, а в другой — конных... У комиссара коня попросим и нашу кобылку мобилизуем. Вот ребятню и отправим.

— Кого?

— Горбунова, он смышленый...

— А рана зажила?

— Говорит, что не болит, повязку снял... Ну и Холкина. Того хлебом не корми,— дай коня, он уже вокруг нашей-то кобылки петли мечет...

Вскоре Вера взобралась на серую кобылку. Под пристальными взглядами командиров прошлась рысцой по дороге. Ничего, сходно. Лошаденка была тихая, привычная вышагивать впереди ротного строя. Рядом на рослом комиссарском коне сидел Ванюша Горбунов.

— Езжайте всё по берегу,— наказывал Шабунин.— Полпути Горбунов впереди, потом Холкин. В село не заезжать, издали осмотреть внимательно. Ну, трогайте...

Смеркалось. В полуверсте Вера видела легкую фигурку Горбунова, он сидел в седле чуть боком, положив на луку раненую руку. Скучно стало Вере, одиноко. Эх, дать бы Серой шпоры да поравняться с Ванюшей. Но нельзя. Как взглянет своими синими глазищами — только искры полетят. У него все строго, как приказано. Лишнего слова не скажет. Деловой. Что винтовку почистить или, скажем, с одной спички костер разжечь — все может. Старшина про него говорил: «Военная косточка». Позавидуешь!

Река делала петлю. На повороте Горбунов пропустил Веру вперед, сказал:

— Гляди в оба.

Вера сняла с плеча винтовку, повод взяла левой рукой.

Полетел снег. Белые хлопья покрыли конский круп, шею, гриву. Кобылка стала вся белой, и Вера вспомнила красавца, сахарное чудо из села Голубиха, из поповской усадьбы.

Мысли быстро побежали по желанной дорожке, и Вера отчетливо увидела, как держит под уздцы белого коня, не спеша выводит его из конюшни на широкую белую площадь. И вот она прыгает в красивое английское седло — за плечами кавалерийский карабин, на боку — острая шашка, как у Миши Тюляева, а в руке длинная пика, как у казака Кузьмы Крючкова. Натягивает поводья...

Мысль пресеклась, и Вера, вздрогнув, вынырнула из мечтательного забытья. Она и не заметила, как въехала в село. Кобылка трусила по улице, справа были крутой обрыв и речка, слева в гору поднимались избы. Село молчало — ни дымка, ни огонька. Вера повернула голову и едва не вскрикнула.

У крайней избы на завалинке, запушенной снегом, поставив винтовку меж колен, сгорбившись, сидел солдат в полушубке с поднятым воротником.

«Спит»,— мгновенно сообразила Вера и приподняла винтовку, чтобы выстрелить, но тотчас, вспомнив строгий приказ Шабунина, круто повернула лошадь и ударила ее прикладом по крупу. Кобылка резво подалась вперед и перешла в крупный галоп. Стук копыт разбил тишину, ужаснул Веру. То неловко подпрыгивая в седле, то вытягиваясь на стременах, она мчалась вдоль берега. А позади раздался испуганный голос проснувшегося часового:

— Сто-о-ой!

Грохнул выстрел. Просвистела пуля. Вера пригнулась, зашептала в самое ухо лошади:

— Скорей, Серая, скорей!

Еще выстрел, еще. Как же она проморгала, недотепа? А может, ничего, обойдется? Ванюша, конечно, все услышал и теперь мчится на кордон, сообщит о беляках ротному. Но, к ее изумлению, за поворотом маячил всадник. Горбунов держал оружие наизготовку.

— Белые?

— Напоролся... А ты чего не ускакал?

— Вот не ускакал... А если бы тебя ранили?

— Ну если бы...
— Балда. А ты бы меня бросил?
— Нет.
— То-то. Пришпоривай.
На добром комиссаровом коне Горбунов быстро обошел Веру. Погоняя Серую, она размышляла над словами Ивана. Конечно, и она бы не оставила товарища в беде. Разве в бою у чугунки она пробежала мимо Ванюши? Нет, и рану перевязала как могла, и хотела довести его до эшелона, только он не согласился.
...Когда она приехала на кордон Буйный, рота была собрана в ружье. Неподалеку выстроились и соседние подразделения полка. Заметивший ее Тырышкин улыбнулся и одобрительно помахал рукой. «Дивно,— подумала Вера,— выходит, Горбунов ничего про нее не сказал».
Ночью красные роты обложили село и захватили его короткой атакой, малой кровью. Наутро они уже совершали марш к железной дороге. Вера шагала рядом с Горбуновым. На привале спросила:
— Иван, отчего ты ротному не доложил, как я вчера на часового напоролся?
— Это зачем?— прямо посмотрел на нее Ванюша.— Задание выполнили.
— Верно.
— А насчет твоей дури, я так понимаю, сам доложишь. Совесть-то небось есть?

Глава одиннадцатая

МОНАСТЫРСКАЯ ЗАИМКА

Эшелон стоял на перегоне за станцией Выя. Всю ночь валил снег, он выбелил крыши теплушек, платформы, закоченевших часовых на тормозных площадках, таял потеками на круглых боках паровоза. Состав будто врос в полотно, слился с окрестным лесом. Только негромкое пыхтение паровика нарушало снежную тишину. Вера лежала на нарах и смотрела на испещренный трещинами потолок вагона; они сходились и расходились, как железнодорожные пути. Вера подумала, что с самого бегства из Лобвы никогда не была так близко от родных мест. Вот загудел бы сейчас паровоз и потащил состав прямо на Верхотурье, Новую Лялю, а там и до

ее поселка рукой подать. И паровоз-то в ту самую сторону глядит. Не доехать только. Помеха одна: в Верхотурье — беляки.

— Холкин, к командиру роты,— раздался голос заглянувшего в теплушку часового.

В командирском вагоне кроме Тырышкина, Шабунина и одного товарища из штаба полка сидел незнакомый человек, не поймешь, рабочий ли, крестьянин: на ногах лапти, а на плечах промасленный полушубок.

— Красноармеец-доброволец Холкин прибыл по вашему приказанию!

— Ишь ты, свежий, румяный. Девица красная, да и только,— произнес штабной.

— А что,— сказал незнакомец.— Похож.

Сердце у Веры екнуло. Неужели узнали и теперь выведут ее на чистую воду?

Незнакомец поднял лежавший у ног мешок и вытряхнул из него коричневое домотканое платьице, шерстяной полушалок, кожаные сыромятные обутки-своедельщину, плюшевый жакет на ватной подстежке, холщовые чулки...

— Ну как, подойдет?

— Зачем мне эти бабьи тряпки?— зарделась Вера.— «Еще издеваются»,— подумала.

— И лицом пригожая,— посмеивался Шабунин.— Переодевайся. Был Володьшей, будешь Машей...

«Машей?» — удивилась и вдруг поняла все. Чтобы рассеять сомнения, сказала:

— Почему меня? Лучше Володьку: он из себя полный, больше на девчонку смахивает.

— Больно здоров, из него девица на выданье получится, казаки увяжутся. Нет уж, Холкин, кончай разговорчики. Получай приказ. Ты ведь местный?

— Лобвинский.

— Верхотурье знаешь?

— Сто раз бывал.

— Так. А монастырскую заимку Актай?

— Знаю, но бывать не приходилось.

— Найдешь?

— Конечно, семь верст от Верхотурья...

— Вот и хорошо. Пойдешь в разведку. Для маскировки переоденешься в девчонку. Понял теперь?

— Понял.

— Вот товарищ,— ротный указал на человека в за-

масленном полушубке,— проводит тебя до Туры, а там самому, то есть теперь «самой», как ты есть Маша... Главное — разведать, есть ли неприятельские силы на заимке. Посмотри, где пулеметы, орудия. Пройдешь на станцию Верхотурье. Огляди составы...

Спутник Вере попался странный и интересный. Говорил все больше загадками и шутками, часто поглядывал на карманные часы-луковицу, какие Вера видела у железнодорожных кондукторов.

— Вы, дяденька, здешний?

— Раз здесь, значит, здешний.

— А в Верхотурье бывали?

— Не столько, брат, бывал, сколько сидел.

— Это как?

— Да так. От сумы и от тюрьмы не зарекайся.

Чем ближе подходили к реке, тем строже становился проводник. На просеке, ведущей к берегу, остановился, еще раз взглянул на часы и сказал:

— Дальше мне не по пути. Другие дела имеются. А ты гляди да поглядывай. Фронта сплошного тут нет, а секреты да разъезды ихние частенько попадаются... Такая война: клин в клин. Вон у железнодорожного моста наши держатся, а тут — беляки. Помни, ты из Нижней Туры. Приехала к деду-леснику. Пошла на заимку, как дед велел, в церкву помолиться. А больше ни слова, хоть резать станут. Ну, пошагали, я — направо, а ты — прямо...

Дорога пошла наизволок, через версту показалась Тура. Река еще не стала. Над темно-сизой водой поднимался туман. Близ берега покачивалась рыбацкая лодка. В ней, ссутулившись, сидел старик с удочкой. Вера окликнула его:

— Здравствуй, дедушка.

— Здравствуй, коли не шутишь,— рыбак поднял голову, и по его крепкому, обветренному лицу Вера определила, что он вовсе и не стар.

— На уху нет ершишек?— как и было условлено, спросила она.

— Садись в лодку, там тебе и ерши...

Пока Вера скатывалась с кручи, рыбак подгреб к берегу.

— Ступай-ка на нос да глянь под скамейкой. Поди, проголодалась?

— Угу,— Вера вытащила лукошко. В нем, заверну-

тые в тряпицу, лежали две крупные картошки, пареная репа и большой ломоть хлеба да еще пышная ветка рябины, обожженная морозцем.

— Чем богаты, тем и рады, не обессудь. Ты не сразу налегай, побереги.

Прихватив лукошко, она выпрыгнула на правый берег. Ветер нес в лицо снежную крупу, в плюшевом жакете было холодновато, и Вера шла быстро, а где бежала. Для нее такая-то дорога — сущие пустяки, сколько раз носила волисполкомовские пакеты. По дороге не заметила, как проглотила картошку и репу. Она шла монастырским лесом и лугом — все земли вокруг заимки были монастырскими. Монахи, слышала Вера, живут богато. В великолепные верхотурские соборы круглый год валили богомольцы — с Исовских золотых и платиновых приисков, из сел и деревень.

Не выходя на обширный, присыпанный снегом луг, Вера укрылась за высоким и пышным зародом сена и внимательно оглядела Актай.

Взбираясь на косогор, к воротам заимки подходила санная колея, а по ней двигался обоз — десяток возов с кулями, покрытыми рогожей. Рядом с мужиками на санях сидели солдаты в шинелях и папахах, трое верховых трусили впереди. Обоз втянулся в ворота, за невысокую белокаменную ограду. Поверх нее виднелись железные крыши большого кирпичного строения, а также бревенчатых просторных домов. Над ними высился округлый купол церкви с башенкой-звонницей.

«Издалека немного увидишь, придется заглянуть на саму заимку».

Обежав редколесьем, она вышла на санный след и догнала бабу в рваном зипуне с двумя ребятишками — мальчиками лет восьми и десяти. «Старший — Сережкин ровесник»,— с тоской подумала Вера. Женщина сочувственно оглядела ее, пожалела:

— Это что же у тебя, девонька, добра-то одно лукошко?

— Угу, больше нет ничего.

— Мать-отец живы?

— Бог взял.

Ребятишки канючили:

— Мамка, хлебушка...

— Да ну вас, надоели, уж до базара потерпите.

Часовой в воротах ощупал глазами и беспрепятст-

венно пропустил. На подворье было людно. Мужики распрягали лошадей, к церкви тянулись бабы, девки, старики и старухи. Степенно проходили монахи, одетые поверх черных ряс в добротные нагольные полушубки. Сновали солдаты. Пощипывая горько-сладкие ягоды рябины, Вера смотрела во все глаза. Пуще всего ее привлекала церковная колокольня. И так Вера заходила, и этак, пока не углядела солдатские папахи в проеме звонницы и тупое рыльце пулемета.

«Запомним. С колокольни, конечно, видно далеко окрест, через монастырские поля и луга, а возможно, и через лес до самой чугунки. Почнут поливать свинцом — не укроешься. Надо из пушки колокольню сшибать!»

За монастырской трапезной стояли два орудия. Зеленые стальные стволы торчали над высокими с железными ободьями колесами; вытянувшись цугом, стыли тяжелые широкогрудые кони. Вера встречала такие орудия в дивизии и определила: трехдюймовки.

«Запомним!»

Повидав все, что могла, она поспешила за ограду догонять богомольную бабу с мальчишками. Вместе они прошагали недолго.

— На станцию зайду, может, земляки попадутся, туринские,— объяснила Вера.— Счастливо дойти.

— Ну иди с богом.

Глава двенадцатая

У КЛИКУН-КАМНЯ

К станции Верхотурье она подошла осторожно. На путях стоял воинский эшелон. Укрываясь за водокачкой, Вера наблюдала, как по платформе медленно прошагали два офицера в бекешах, при револьверах и шашках. На тормозных площадках мерзли солдаты.

Сосчитала теплушки: десять.

По гулким стукам, раздававшимся из иных вагонов, догадалась: кони.

Паровоз смотрел на юг, в сторону Выи. «Как раз навстречу нашему эшелону,— подумала Вера.— Лоб в лоб».

Только теперь она почувствовала голод. Ее припасы кончились еще перед Актаем, а горько-сладкая рябина

лишь раздразнила аппетит. «Сейчас бы глотнуть кипяточку с хлебушком, а то супцу хотя бы из осточертевшей вяленой воблы... Постой, постой,— рассудила Вера.— До Верхотурья шесть верст. Если пошире шагать, то меньше чем за час доберусь и все успею, ведь на переправе ждут только завтра. А в Верхотурье — базар... Денежки зашиты в подкладку... царские целковые,— она еще додумывала свой план, а ноги сами несли ее по запасным путям, мимо одноэтажного с желтыми колоннами вокзальчика на знакомую дорогу.— Была не была...»

Тятя не раз говорил, что Верхотурье на целую сотню лет старше Питера. Чуден этот город на Туре. Хоть сколько раз по нему ходи, не устанешь любоваться на широкую, быструю, в крутых каменистых берегах реку, что огибает городские холмы; на прямые просеки улиц с ладными бревенчатыми, а в центре и каменными домами; на дивной красоты соборы и церкви. Первым на пути от вокзала встретился новенький, незадолго до германской войны построенный Никольский собор, что поднял свои округлые пышные купола под свинцовыми кровлями за раздольным белокаменным кремлем. За ним вонзился в хмурое небо огромной корабельной мачтой стрельчатый Троицкий собор; его золотые кресты были видны в хорошую погоду за целых десять верст.

Даже торопясь, Вера не могла не задержаться на минутку у терема-теремка, удивительного домика с низенькими балкончиками и резными наличниками, сложенного из бревен, как говорили, без единого гвоздя. Строили этот домик якобы для царской семьи и «старца» Распутина, вознамерившихся посетить Верхотурье.

Все вроде было в городе на месте, однако не так, как прежде. Какая-то непривычная тишина удивила Веру. Она догадалась: не стучали, как обычно, шумные кузни за речкой Калачиком, впадавшей в Туру.

Базар лежал на площади меж Никольским и Троицким соборами. И здесь было потише, чем прежде, поменьше народа, но торг все же шел довольно бойко.

Когда Вера вбежала в тесовый балаган-обжорку, в ноздри ей ударили дразнящие запахи: духовито отдавало подовыми пирогами с рыбой, капустой, морковью, картошкой, лежавшими в коробах у торговок; кисловато и солоно пахли квашеная капуста в бочках, огур-

цы и грузди в бочонках; морозной свежестью несло от клюквы; но все перешибал сытный, дурманящий голову парок из корчаги со щами.

— С пылу, с жару,— нахваливала баба в тулупе.

— Щец бы мне,— только и сказала Вера, протягивая деньги.

— Ешь на здоровье, девонька.

Щи были наваристые, с обрезью, печенкой, селезенкой, разной требухой. Вера, присев на ящик, уплетала их за обе щеки. Вот тогда-то в дверях на секунду-другую показалось и исчезло знакомое узкое, будто сдавленное с ушей, лицо и фуражка с гербом, черная шинель с белыми пуговицами, и Вера узнала лобвинского Володьку Шутова.

Испуг был мгновенным и скоро прошел. Конечно, не ладно, если Володька ее заметил. Чужой он и вредный парень. Все их семейство такое. Нельзя сказать, что из богатых, нет. Но уж больно все Шутовы — и отец, и мать, и сыновья — еще в царскую пору льнули к начальству, старались услужить; хвостом вились за управляющим лесопилкой немцем Бехли. Вот и вышло — Володькин брат-конторщик — при господах, другой — в горном училище, а Володька — в реальном, в городе. При Советах держались Шутовы тише воды ниже травы... А теперь...

Может, и не заметил? А коли заметил, станет ли доносить?

Поспешно выхлебав щи, она стала торговать кусок пирога с капустой — тут снова мелькнула Володькина фуражка. Теперь точно заметил, но отвернулся и нырнул за возы.

Скорее, немедля уходить! Но по дороге попался лоточник с табаком и папиросами. Жуя пирог, Вера подумала, что было бы неплохо прихватить табачку. Ведь как красноармейцы бедствовали с куревом! Только и слышно было: дай докурить, оставь «бычка», щепотку делили на троих. А тут лежит махорка в пачках да замечательные папиросы в коробках, на которых нарисован храбрый казак Кузьма Крючков верхом на коне и с пикой наперевес.

Вера купила и спрятала в лукошко целых три пачки махорки и две коробки папирос.

Вот тут-то ее и задержали стражники. Приказали следовать за ними.

«Эх, щец захотела похлебать, лопоухая!»

Завели в каталажку, каменное, в одно окошко строеньице, что приткнулось в углу базарной площади, куда прежде сбирали воров и пропойц. Ее встретил высокий тучный офицер в погонах поручика и низкой барашковой шапке, хмельной и мрачный.

— Красная сволочь?

— Нет, я...

— Молчать! — Он вынул из-за обшлага скомканную бумажку, взглянув, спросил:

Кузницына?.. Верка. Из Лобвы?

— Нет, я Маша... из Нижней Туры.

— Врешь,— и наотмашь мазанул по лицу.— Где отец?

Заныла щека, оглохло ухо.

— Преставился... На германской погиб...

— Врешь. В большевиках твой отец, красный! Мать?

— Бог взял.

— Тоже большевичка, драпанула из Лобвы.

Короткий удар пришелся меж глаз. Вера упала на каменный пол и потеряла сознание. Когда очнулась, офицер стоял над ней, нависая тяжелой глыбой.

— Вставай, девка. Табак для кого?

— Д-деду несла.

— Ах ты дрянь подворотная,— и он опять поднял свой пудовый кулак.

«Забьет! — мелькнула мысль.— До смерти забьет. Лучше уж не вставать, прикидываться». И она, лежа, заревела в голос:

— Дяденька, за что? За что? Ни в чем я не виноватая. И не из Лобвы я вовсе, отродясь там не бывала, из Туры я, святой истинный крест. Дед послал в Верхотурье, в церкву помолиться, табачку купить...

— Ах ты падло!

Она истово перекрестилась:

— Бог видит, нисколько не вру, миленький дяденька. Христа ради прошу, не бейте безвинную сироту.

Офицер ткнул ее сапогом в бок.

— Ох, больно, ой, больнешенько,— она ревела и стонала, размазывая по лицу кровь. Задергалась, как припадочная.— Ой, боюсь, ой, убьете, ой, не надо!

— Чертова кукла! — буркнул офицер.— Увести... в острог...

В сумерках два стражника с шашками на боку при-

вели ее в верхотурскую тюрьму. Тюремный надзиратель бросил ее в камеру-одиночку.

«Что мог еще доказать на нее Володька Шутов? Он же знает все: и что тятя в семнадцатом году записался в большевики, и что у нас в избе еще в царское время собирались политические ссыльные, бывали и большевики-подпольщики Ханкевич и Христофоров, а позднее сходились военнопленные, которые за революцию...» Знал, конечно, Шутов и про то, что Вера работала в волисполкоме и даже получала на станции большевистскую газету «Правда». Все это было ему известно, и обо всем он мог рассказать или написать белякам.

Какая же сволочь этот Володька!

В глаза глянуло круглое зрячее дуло. Оно расширилось и заслонило весь свет...

«Мама, мамочка»,— подумала, а может, крикнула Вера и, отвернувшись от нацеленного дула, уперлась взглядом в одинокую сосну над кремнистым обрывом. Там в глубине темнела вода. «Высота страшна, а пули страшнее». Она рванулась к обрыву и — была не была — бросилась с кручи.

Пресеклось дыхание, остановилось сердце. Она врезалась в воду сразу за ледяными заберегами и камнем пошла ко дну. Руки толкнулись в твердое, спружинили, вода выбросила ее на поверхность, быстрое течение поволокло за поворот. Она подныривала, стараясь подольше укрыться под водой, и снова плыла.

Вера не услышала ни команды «пли», ни грянувших выстрелов, не увидела, как падают с высокой обрывистой скалы простреленные навылет тела красноармейцев, как, взбежав на лбище Кликуна, солдаты неистово палили, спешно ловя на мушку появлявшуюся на мгновения в быстрых водах Туры маленькую фигурку девочки. Она подныривала и плыла. За поворотом пули уж не могли ее догнать. Вера, махая саженками, подгребала к лесистому правому берегу. Хватаясь за ломкий лед, за кусты, с трудом выбралась на отмель и, не давая себе передышки, кинулась в лес.

Ледяная вода ручьями бежала с ее одежды, хлюпали сыромятные обутки, а тело жгло, будто выскочила не из морозной воды, а из крутого кипятка. Тут ее и настиг запоздалый ужас, прорвался бурным потоком слез, ревом и судорожными всхлипываниями.

В лесу, в безветрии, было теплее, и она поспешно углублялась в чащу. Еловые, пихтовые ветки цеплялись за мокрую одежду, нахлестывали по лицу. На ходу отжимая жакет, рубаху и юбку, Вера почувствовала, что они твердеют, покрываясь ледяной коркой. Она лихорадочно соображала: куда же податься? До условленного места за Актаем ей ни за что не дойти: не меньше десятка верст. Падет и замерзнет. Вернуться в город — снова угодишь в острог, и, уж верно, расстреляют. Она вспомнила речь провожатого: «Такая, брат, война: клин в клин... Вон у железнодорожного моста наши держатся».

Обессиленная, голодная, вся в ледяном панцире, с затуманившимся сознанием, она услышала звуки недальней перестрелки. И побежала навстречу выстрелам.

Голоса были знакомые: мужской — ворчливый, с хрипотцой и женский — звучный, веселый. Они гудели в ушах, но слова Вера разобрала не сразу. Голова была тяжелая, а тело жаркое, легкое.

Когда открыла глаза, то выплыл дощатый потолок теплушки, жестяное колено трубы. Она — в вагоне. Колеса не стучат, видать, поезд стоит.

...— Даю ему сухие подштанники — переоденься. Так он, видишь ли, стесняется. Каков гусь? Спрятался под моей шинелкой и так-с изволил бельецо сменить.

Вера скосила глаза: у железной печки вагона, занимаемого полковым околотком, стояли усатый, худой фельдшер, по фамилии Самодур, и розовощекая деваха. сестра милосердия, что надсмехалась над Настоящим Володькой. Вера вспомнила: вчера фельдшер совал ей в рот какие-то порошки и влил полкружки спирта, от которого ожгло все нутро.

— Быть не может,— удивилась деваха.— А я считала: Холкин — жох-парень.

Разговор принимал неприятный оборот, и Вера поспешила вмешаться:

— А вот и я. Хорошо продрыхся! — нарочно бодро крикнула она, но вышло как-то тихо и хрипло: болело горло.— Жив-здоров, спасибо докторам.

— То-то здоров, скрипишь, как немазаная телега,— усмехнулась сестра милосердия.— Да еще дурной стал, фельдшер говорит: больно стеснительный, фыры-мыры...

— Не стеснительный, а осторожный,— извернулась Вера.— В разведку-то ходил в девчоночьей одежде, так

уж чтоб не сплоховать, надо было себя не выказывать... Вещи мои где?

— Юбка с жакетом? Вон на нарах, высохли.

— Нет уж, подайте мою военную форму: шинель, гимнастерку, сапоги — все как положено.

— А это, милейший,— проворчал Самодур,— изволь подождать, пока из роты не доставят, у нас не цейхгауз.

В околотке Веру продержали еще сутки, пока Горбунов с Настоящим Володькой не принесли узел с полной формой. За эти сутки Вера не раз пробовала допытаться у фельдшера, как она доложила про разведку. Ее беспокоило: не забыла ли она про пулемет на колокольне, про пушки и воинский эшелон.

— Не знаю, не знаю, парень... Слыхал — командир полка с тобой разговаривал, ротный тоже, значит, вызнали, что требуется. А ты, выходит, все начисто заспал?

Вера набросилась на приятелей с расспросами. Немногословный Горбунов ответил:

— Известно, и про пушки, и про пулемет. Бой был, но на Актай не пошли: и как раз из-за ихних трехдюймовок,— и одобрительно посмотрел на Веру своими синими-синими глазами.

Зато Настоящий Володька шумно выражал свою радость и, пока Вера натягивала обмундирование, тараторил:

— Ты непременно в пулеметную команду сходи и найди там пулеметчика Маслова Ивана. Да поблагодари, он-то тебя и спас.

— Маслова? Слышал про него. Алапаевский? Да? Говорят, он своим «максимом» может сено косить.

— Он и есть. Ты-то ведь выскочил из лесу на поляну, под самый пулемет. А Маслов беляков поливал...

Вера ничего этого не помнила. Ей очень хотелось рассказать про разведку — как ее схватили, бросили в острог, повели на Кликун-камень расстреливать, как прыгнула со скалы в быструю Туру... Но она сдержалась: подумают — хвастает, и не поверят. И побаивалась: за самовольный-то уход на базар в Верхотурье по головке не погладят. Крепко нагорит, ох как крепко! А то еще и вышибут из полка.

Потом когда-нибудь расскажет...

9 Заказ 569

Глава тринадцатая

А ДО ЕКАТЕРИНБУРГА ДАЛЕКО...

Нагрянул свирепый декабрь. В первую же неделю ударили морозы — за сорок градусов, да так и не отпускали. И пали эти холода на тяжелую для красных уральских частей пору: под давлением значительно превосходящих сил противника пришлось отходить на запад. На рассвете 29 ноября колчаковцы атаковали на широком фронте 29-ю Уральскую дивизию и Особую бригаду. Щедро снаряженные орудиями и пулеметами, хорошо экипированные, сытно накормленные, они взламывали оборону измученных, не знавших отдыха красных частей и рвались к Чусовскому заводу, Кунгуру, Перми. На станции Выя белые окружили 17-й Петроградский полк и пришедший ему на помощь 1-й Камышловский. Сквозь вражеское кольцо пробилась лишь малая часть состава этих полков.

У деревни Салда 1-й Рабоче-Крестьянский полк оказался в окружении. Бойцы пробили себе дорогу штыками.

На 1-й Крестьянский коммунистический полк Красных орлов наступало четыре полка белых. Красные орлы, возглавляемые коммунистами, трижды переходили в контратаки, но когда к колчаковцам подошли свежие резервы, вынуждены были отойти. В ночь на 13 декабря белогвардейцы заняли станцию Калино. 29-я Уральская дивизия была разрезана надвое.

Выпал на редкость глубокий снег. Двигаться можно было лишь по дорогам. Снабжение стало никудышным. По трое-четверо суток бойцы не получали горячей пищи. питались мерзлым хлебом — по четверть фунта на брата в день.

Несмотря на это, все полки 29-й Уральской дивизии отчаянно дрались, заставляя врага расплачиваться немалой кровью за каждый шаг продвижения на запад.

Комбриг Филипп Акулов, собрав изрядно потрепанный Путиловский кавалерийский полк, рванул в дерзкий рейд по колчаковским тылам. Красные кавалеристы, среди которых был и Верин знакомый Михаил Тюляев, разгромили полк белогвардейцев, захватили два орудия, пулеметы и открыли из них огонь по насту-

павшим вражеским войскам. Однако и этот удачный бой не мог изменить сложившейся на фронте тяжелой обстановки.

Пришлось отступать.

Смешались дни и ночи. Частые перестрелки, вылазки, атаки, марши, неумолимые морозы и мучительный, сосущий голод иссушили душу и тело. У Веры кружилась голова, в глазах плыли красноватые круги. Делала она все, что прикажут, как заведенная; засыпала при первой возможности. Не пугало даже, что разоблачат ее обман — превращение в парня. Поэтому она не смутилась при внезапной встрече с двумя земляками — братьями Корнеевыми, хотя они и были опасны: Александр и Василий Корнеевы славились по всей Лобве как отъявленные озорники и задиры.

Попались они на лесной дороге. Обогнав роту, Вера спешила с пакетом в батальон, когда увидела на обочине сани, распряженную лошадь и двух красноармейцев в заиндевелых шинелях, которые, ругаясь, связывали порванную веревочную упряжь. В этих кряжистых, широкоплечих бойцах Вера и узнала Корнеевых. Вероятно, они ее и не заметили бы и Вера могла проскочить мимо, но она сама их окликнула.

Александр и Василий обернулись, вгляделись и от удивления раскрыли рты.

— Мать честна, неужто Верунька?

— Я и есть,— безбоязненно призналась Вера.— Служу в 3-м Екатеринбургском, во 2-й роте.

— Ты как же... за девку или за парня?

— Красноармеец я, доброволец. Имя — Владимир, по фамилии Холкин. Понятно?

— Смекаем... помаленьку.

— И чтоб,— глаза у Веры зло блеснули...— И чтоб про Веру — молчок,— строго приказала она простуженным голосом.— Нету тут никакой Веры!.. А то знаю я вас!

— Молчим, молчим... Дурные, что ли?..

— То-то...

Она одарила братьев: отсыпала полпачки махорки, которую рассчитывала сменять на хлеб. Разговор был коротким. Лобвинских новостей у братьев не было. И про отца они слышали только то, что было ей известно: минувшей осенью видели его в красном отряде, а где он теперь — неведомо.

— С донесением... Спешу,— попрощалась Вера.— Еще свидимся.

Она вообразить не могла, какую удивительную, радостную весть принесут ей вскоре братья Корнеевы.

Пути декабрьского отступления привели 3-й Екатеринбургский полк на Чусовской завод. В походах бойцы изголодались до крайности, а в городке повезло: раненная пулей обозная коняка была пристрелена. Тушу, быстро схваченную морозом, освежевали, разрубили на части. Прямо на улице развели костер. Огонь лизал дно большущего котла, наполненного водой.

Глядя на пляшущие над поленьями язычки пламени, Вера думала невеселые думы. Отходим да отходим, все дальше оттесняет ее война от родимой Лобвы. По слухам, не сегодня-завтра опять в поход, на этот раз двигаться на Пермь. Говорят, что на отдых, но кто же поверит, все понимают: не до отдыха, жмут и жмут беляки.

Винтовка была за плечами, треух нахлобучен на уши, воротник шинели поднят, а в руке она держала твердую, как камень, лошадиную ляжку — долю, выделенную на взвод.

— Холкин! Холкин! — раздались громкие голоса. Вера привычно откликнулась:

— Я. Красноармеец-доброволец Холкин.

— Здорово, Володьша!

— Земляку — почтение!

Перед ней стояли запыхавшиеся братья Корнеевы, только что вынырнувшие из проулка.

— Мы к тебе,— зашептал Александр.— Слушай... Павел Данилович здесь...

— Кто?

— Да отец твой... Павел Данилович.

— Тятя?

— Он.

— Где?

— В пулеметной команде... Близко совсем... Через три улицы...

— Ну... Он... какой? З-здоровый?

— Будто бы здоров, только отощал ужасно. Худ, как мощи, не сразу и признаешь. В окружении был, у колчаковцев в тылу.

— Голодный?

— А ты думал! Скорей собирайся. Он тебя кличет.

Вера зачем-то тряхнула винтовку за плечами, поправила треух, одернула шинель.

«Тятя жив. Увижу».

Вера бросилась к старшине Петракову, хлопотавшему во дворе:

— Тятя... нашелся... Бегу... Можно? — и она замахала перед старшиной смерзшимся куском конского мяса.

— Что ж, бери, бери, Володьша. Будь спокоен, твоим ребятам еще выделю... Ну, давай дуй...

«Тятя. Жив».

Она побежала вслед за братьями Корнеевыми, обогнала их, а в глазах все еще плясали огоньки костра, и сквозь них виделся отец. Павел Данилович представлялся молодым, с короткими пшеничными усами на широкоскулом смуглом лице и смешливыми морщинами у рта. Тятя подсаживал ее, маленькую, шестилетку, на пегую кобылку, по кличке Мать-моя, и, улыбаясь, спрашивал: «Усидишь, Верунька?»

На бегу она успела передумать об отце поразительно много — и о его веселом нраве, о любви к книжкам и песням, даже о том, как приятно пахло от него машинным маслом, когда он возвращался с работы. Но она не вспомнила о том, что Павел Данилович был ей не родным отцом, а отчимом. Настоящий же ее отец, который ни единой черточкой не сохранился в памяти, умер давным-давно, когда Вере исполнилось всего лишь год и три месяца. Она знала, любила, потеряла и теперь вот нашла тятю Павла Даниловича.

Вера увидела его в заулке, на утоптанном и наезженном снегу, около санок-розвальней, на которых стоял пулемет «максим». Узнать отца было трудно, потому что его крепкое, прежде округлое, с тугими щеками лицо заострилось от неимоверной худобы, нос стал хрящеватым, усы разрослись и обвисли, а подбородок кустился сероватой, какой-то пыльной бородой.

— Тятя, тятя! — закричала Вера.— Тебе мяса надо? Я принесла.— И сунула ему в руки каменной крепости лошадиную ляжку.

Отец взял подарок, бросил в сани и крепко обнял ее. Она почувствовала запах конского пота, махорки, пороха. Радостно узнав давний запах машинного масла, удивилась: откуда он? Неужто сохранился? Нет, конечно, это от пулемета...

— Ну, здорово, вояка,— отстраняясь и осматривая ее с головы до ног, улыбнулся отец. Только теперь Вере пришла в голову тревожная мысль: ведь отец может пойти к командиру и сказать, кто она есть.

— Чего молчишь?— строго спросил отец.— Язык проглотила? Да... за мясо спасибо тебе... Иди-ка в избу, я сейчас... Только накажу ребятам сготовить.

Зайдя в дом, Вера села у стола на лавку и с душевным трепетом стала ожидать отца.

В эти минуты она чувствовала себя не бойцом 2-й роты, а снова девочкой Верой, Верочкой, Верунькой, которая, как в детстве, сильно напрокудила, провинилась и теперь с повинной головой ждет нахлобучки. Никогда отец ее не бивал, пальцем не тронул, грех сказать. Но вот когда однажды верхом на кобыле ее унесло на двое суток в дальний лес и пришлось взбулгачить весь поселок на поиски, то вернувшуюся Веру встретило причитание матери и ледяное молчание Павла Даниловича.

— Значит, воюешь?— без улыбки на истомленном лице спросил отец, войдя в избу.— Что же ты, девка, удумала? На кого мать и Сережку бросила?.. Знаю, знаю, они в тылу, в Нытве... Ну и что из этого? Кто же им поможет, кроме тебя?

— Тятя, да я же не маленькая...

— Выросла? Да не поумнела. Ну, хватит. Нечего девчонке одной среди мужиков хороводиться. Кончать пора... Пойдешь к ротному и во всем признаешься,— сердито выкрикивал отец и вдруг умолк и закашлялся. Кашлял долго, надсадно и сразу как-то сник.

— Тятя, тятя,— уговаривала его Вера.— Никто ведь и не знает, что я девчонка, я — Володьша, красноармеец, какой-никакой солдат, уже повоевала... Я же в разведку ходила, караул несла...

Павел Данилович все не мог унять кашель.

— И куда же я одна подамся?— жалостливо запричитала Вера. — Дом-то наш у беляков. И до Нытвы как доберешься? Еще неизвестно, там ли мамка, а коли увезли?.. Уж лучше мне за роту держаться, свои все же, привыкла, пропасть не дадут... Вот ужо вернемся в Лобву, мамку с Сережкой разыщем и привезем, тогда можно и винтовку отдать...

Павел Данилович слушал задумчиво, и вдруг — Вера себе не поверила — из глаз его по впалым щекам, серой бороде поползли слезы.

— Тятя, тятя!

— Ни-и-чего, Верунька, ничего. Ослаб я больно, хватил лиха по самую завязку.

— Дак что же с тобой было?—Вера облокотилась о столешницу, по-бабьи подперла голову ладонью и приготовилась слушать...

— Вишь какое дело,— начал Павел Данилович.— Почитай два месяца провел я в дороге. Со мной только Буланка, возок да пулемет.

— Постой, ты ж в отряде был?

— Именно что был... До сентября, кажется... У меня и месяцы-то путаются, не то что дни... Да, числа тридцатого сентября вышел на Туре тяжелый бой. Ихняя сила брала — и числом, и оружием превосходили, даже конный отряд имели... Мое дело, известно, маленькое, ездовой при пулеметной упряжке. Два пулеметчика, один «максим», лошадка да я. Пулеметчики, скажу тебе, были у меня золотые, истинные мастера. И они оказались при последних силах... «Максим» раскалился... Воды нет... И патроны кончаются...— Павел Данилович передохнул, прокашлялся и сказал виновато:— К тому же не углядели. Служили в нашем отряде братья Борисовы, тоже пулеметчики. Шибко хитрые, где удавалось, прохлаждались по тылам... И все же никто, и я, даром что партийный, не ожидал от них такой черной измены... Уж это после, тут вот, в дивизии, от надеждинских ребят узнал, что отец Борисовых был в царское время стражником и крепко рабочим насолил. Ну и когда довелось, они его — к стенке. А сыновья, значит, за отца... Как учуяли, что белая сила берет, то и начали строчить по нам из своего пулемета. Много бойцов извели. Моих дружков, обоих номеров, насмерть положили. А меня, стало быть, пуля миновала... Потом, скажу тебе, настало время, что я об этом горько пожалел, лучше бы и меня с ними заодно... Ну это потом... А в ту пору схоронил я своих товарищей, благо бой затих и меня беляки стороной обошли, и остался один-одинешенек... вот с Буланкой да с «максимом»... В пулемете — последняя лента на исходе. В винтовке — одна обойма... И начался тут, Верунька, мой поход...

Он рассказывал, а Вера все, все это видела.

...Пробирается шажком по тайге Буланка, тянет возок с пулеметом. И ведет ее отец под уздцы, потому как иначе нельзя: ельник густой, переваленный буреломом,

где кусты, где болотина. Льют дожди, падает снег, а отец все идет и идет...

Места эти были на север и запад от Лобвы, и по рассказам знала Вера, что деревни и села там редки, иные друг от друга в тридцати-сорока верстах. Кое-где встречаются заимки, заброшенные прииски, часовенки, скиты... Вот и все.

— И в деревеньки заходить почти не приходилось: кто знает, что за люди. Все больше кержаки... С ними ухо держи востро... А держались мы с Буланкой подножного корма,— усмехнулся он.— Выбор, скажу тебе, богатейший... Буланке кое-где из-под снега травы нащиплю, листвой угощу. А мне, пожалуйста, как в наилучшем трактире, на выбор: чего изволите... Ежели хорошенько поискать, тут и клюква, и костяника, и морошка, и рябина, не беда, что мороз прихватил, оно даже вкуснее... Так и пропутешествовал до самого Чусовского. Тут и встретил Красную Армию... Да, зачислен в пулеметную команду, на прежнюю должность!

В зал, где сидели Кузницыны, зашли пулеметчики — оба номера: худой, черный как жук, Рыков и маленький, складный Мыльников, оба земляки, лобвинские.

— Наше почтение,— сдержанно поздоровались они, пряча улыбки. Видно, были предупреждены Павлом Даниловичем — не удивляться тому, что Вера в мужском обличье, в военной форме, лишних вопросов не задавать и разговоров не вести.

— Обед поспел,— доложил один.

— Пожалте кушать,— пригласил второй.

После того как от лошадиной ляжки осталась одна гладко обструганная ножами, обглоданная кость, Вера поспешила обратно в роту.

На прощанье Павел Данилович сказал:

— Быть по-твоему, Веруша. Воюй честно. Но с умом, по-солдатски, не зарывайся. Теперь я поблизости, непременно наведывайся, подсоблю. И вот что: служить будешь до поры. Как пойдем в наступление, погоним Колчака да возьмем Екатеринбург, ну и Лобву соответственно, придет твоей службе конец. Сама не откроешься, я все расскажу. И — точка. Слово мое, ты знаешь, крепкое: до Екатеринбурга!

А до Екатеринбурга было еще и далеко и долго.

Глава четырнадцатая

ПЯТЬ БИЛЕТОВ В ОПЕРУ

Вера постучала в окошечко. Из кассы выглянула женщина в очках на шнурке, закутанная в пуховый платок.

— Что вам угодно?— она с опаской покосилась на винтовку, торчавшую из-за Вериного плеча.

— Мне — билеты.

— Вам?

— Мне.

— З-за деньги?

— А как же. У меня и керенки, и николаевские имеются.

— Тогда лучше царские. А на когда изволите?

— На двадцать пятое.

— Значит, на «Бориса Годунова»! У молодого человека хороший вкус... Два? Вам и даме?

— Ну, какая еще дама!.. Пять билетов, самых наилучших!

— П-пожалуйста.

В Перми рота Тырышкина стояла уже пятые сутки. Как приехали из Чусовского, роздыху не было: все в караул и в караул. Красноармейцы говорили: «Что ни день — на ремень». Ночи были темные, морозные, с пронзительными ветрами от Камы. Время от времени на улицах хлопали выстрелы.

Возвращаясь с поста в холодную казарму, Вера садилась у остывающей чугунной печки и долго не могла согреться. Побаливали приmороженные ноги и руки, не отпускал кашель. Бойцы спали вповалку на нарах. Храпели густо, со стонами, свистом, бормотанием. К Вере подсаживался помкомроты Шабунин. За последние недели лицо его осунулось, потемнело, а хромать стал сильнее прежнего. Он был занят и днем и ночью: учил пополнение, доставал боезапас, проверял караулы. Его родной дом находился совсем близко — на Мотовилихе, в каких-нибудь трех верстах от казармы, но он еще ни разу не навестил родных.

После истории с винтовками и актайской разведки Шабунин отличал Веру от других бойцов и охотно заго-

варивал с ней. Наверное, от старшины Петракова он узнал кое-что про ее верхотурские похождения и напоминал о них:

— Ты, Володьша, конечно, проштрафился и кругом виноват. А почему? Нет еще в тебе настоящей пролетарской косточки, дисциплины нет. Между прочим, странно это. Кто ты есть, если разобраться? Ты есть сын рабочего класса, потомственный пролетарий. Вот какое твое происхождение. К тому же отец у тебя партийный, большевик. Спрашивается, откуда же у тебя эти самые буржуйские замашки: чего хочу, то и ворочу? Зачем, к примеру, было тебе шастать в Верхотурье, да еще на базар?

«Хорошо еще,— думала Вера,— что не рассказала ни старшине, ни ребятам всей правды, того, что узнал и выдал ее гад Шутов, узнал-то как девчонку».

— Неужели свое брюхо дороже нашего пролетарского дела и командирского приказа?

— Да я хотел... опять же разведку произвести.

— Не лукавь! Доподлинно известно, что ты там разведывал...

В последний раз разговор с Шабуниным принял неожиданный оборот. Помкомроты, грея у печки раненую ногу, вдруг размечтался:

— Все воюем да службу несем без отдыха и срока. А не устроить ли нам, Володьша, праздник?

— Это как? — удивленно спросила Вера.

— Да так. Договорюсь с Тырышкиным, и он отпустит нас гулять на целый день по губернскому граду Перми...

— Ну?

— Вот тебе и ну. Перво-наперво заглянем к моим старикам на Мотовилиху. Хибарка у нас, а не дворец, конечно, но уж встретят — с добром. Эх, сварят нам картошечки в мундире и, возможно, даже попотчуют солеными грибками. Мать большая мастерица груздочки солить. Ну, старики мои тебе понравятся. Проведем у них день-деньской, а потом закатимся в театр.

— Куда?

— В театр, дорогой товарищ, на оперу... Не раз бывал, между прочим, удивительное это дело, превосходное! Ты небось и слыхом не слыхал? В общем, решено, идем!

— Когда?

— Отвечаю точно: через три дня, 25 числа. Сбегай-ка утром в театр да в кассе купи билеты.

— А ребятам можно, Ванюше да Володьке? И тяте?

— Можно всем. Гулять так гулять!

...Забравшись на нары, она расстегнула кармашек на гимнастерке и — целы ли — достала билеты в театр, прочитала номера ряда и кресел. Важно-то как!

Заснула быстро, с радостным ожиданием праздника.

В полночь загремела частая пальба. Винтовочные выстрелы перемежались с пулеметными очередями. В городе шел бой.

— В ружье, выходи!

— Что? Что случилось?

— Да беляки в Перми. Говорят, Красные казармы захватили, к вокзалам идут...

— Врешь! Откуда они тут?

— Вот те крест, обозники прибегали, сказывали.

— Мало что обозники сбрешут.

— Быстрее... Заряжай!

Рота Тырышкина — три десятка бойцов, не более — выскочила на лютый мороз и вслед за командиром побежала кривыми переулками к Сибирской улице. Едва очнувшись ото сна, Вера поспешно затолкала обойму в магазин, лязгнула затвором.

— Ложись!.. Залпом... Пли!

Залегли на мостовой и тротуаре, в подворотнях, за сугробами. Над горбатой Сибирской свистели пули. Колчаковцы били откуда-то сверху, похоже, от белевшего на взгорье особняка с колоннами.

— Берегись! Обходят!..

— Без паники, товарищи! — это голос Шабунина.

Перебегая от дома к дому, из ворот в ворота, белые спускались по Сибирской. Послышались крики, стоны.

— Володьку убили!

Вера подняла голову. Поодаль, у сугроба, выронив винтовку, распластался плотный, невысокий красноармеец. «Кость широкая»... Неужели он? Вера поползла, загребая снег. Но ее опередил Петраков. Он прижался ухом к Володькиной груди:

— Живой.

— Унесу! — крикнула Вера.

— Отстреляемся, унесем,— отрезал старшина.— Знай свое место...

Россыпь колчаковцев неумолимо приближалась, и красноармейцы, отползая, стягивались вокруг Тырышкина и лежавшего ничком на снегу Настоящего Володьки... Патроны были на исходе, Вера достала из-за пазухи свой маленький «бульдог», взвела курок. И в этот момент снизу, от Камы, донесся звонкий топот.

Из переулка выскочил всадник на белом коне. Вытянувшись на стременах, огромный в ночи, он пластал взметнувшейся шашкой черное небо. За ним — еще всадники.

Конный отряд, гикая и свистя, понесся вверх по Сибирской. Кони скакали галопом, снег и искры летели из-под копыт.

Заметались фигурки на взгорье, у особняка с колоннами... Конники, рубя и стреляя на ходу, помчались к Красным казармам.

— Сила! — воскликнул Петраков.

Вера неотрывно глядела кавалеристам вслед.

То, что произошло в ночь с 23 на 24 декабря 1918 года в Перми, было неожиданным не только для красноармейцев роты Тырышкина и других столь же обескровленных и измотанных в боях рот и полков, но и для старших командиров и начальников. Совершилась подлая измена. Группа бывших царских офицеров, которые люто ненавидели Советскую власть, пролезла на важные посты в частях и штабах Красной Армии, расположенных в городе. Составивши заговор вместе с предателями из меньшевиков и эсеров, они во главе с полковником Барминовым вероломно открыли путь белогвардейцам, пропустили их через Мотовилиху — в центр Перми.

К полночи колчаковцы прорвались к Красным казармам.

Обстановка была неясной, запутанной. Чтобы разобраться в ней, красные командиры сели на коней и решительно поскакали навстречу опасности. Конный отряд возглавил командир Запасного полка Зеленцов. Проскакав по переулкам, кавалеристы выскочили на Сибирскую улицу и там обнаружили противника. Выхватив из ножен шашку, Зеленцов скомандовал: «В атаку!» — и впереди отряда вихрем полетел на колчаковцев. Кавалеристы гнали их до самых казарм, где

натолкнулись на густую цепь вражеских солдат. И здесь, и на других улицах и в переулках завязались упорные ночные бои.

Кавалерийскую атаку комполка Зеленцова и видела Вера на Сибирской.

— Холкин! — окрикнул Шабунин.— Дуй в цейхгауз!

— Чего? — Вера не сразу поняла. Она глядела на Настоящего Володьку. Его мягко подняли и тихо понесли Петраков и Горбунов. Она хотела помочь, проститься с Володькой и сказать ему что-нибудь хорошее, веселое, но он был без сознания и только громко стонал.

— В цейхгауз, Холкин,— сердито повторил помкомроты.— Опять за свое, неслух. Ну?..

— Я... с Володькой пойду...

— Выполняй приказ!

Вера и пятеро пожилых красноармейцев направились к берегу Камы, где располагались склады оружия, обмундирования и амуниции. Приказано было доложить старшему и грузить имущество на сани.

— Прибыли в ваше распоряжение,— обратилась Вера к худощавому среднего роста бойцу, который спокойно распоряжался погрузкой тяжелого железного ящика. Он показывал, как ловчее его ухватить, и сам подставлял плечо. Боец обернулся. Вера узнала отца.

— Тятя?!

Павел Данилович закашлялся и махнул рукой:

— Помогай!

Сколько надо было рассказать — и про ночной бой, и про ранение Настоящего Володьки, и про конников, о многом хотелось расспросить, но до самого утра, работая вместе, они едва ли перемолвились десятком слов. Некогда было и сухари погрызть. Днем длинная вереница тяжело груженных саней потянулась к Каме.

С визгом и свистом над городом пролетали снаряды. Колчаковцы подтянули тяжелую артиллерию. Били по станции Пермь-II, где на путях скопились десятки составов с людьми, огнеприпасами, продовольствием. Рвануло эшелон у моста. Образовалась пробка. Эвакуация по железной дороге стала невозможной.

Пришлось выводить воинские части по камскому льду, а затем вдоль магистрали на Верещагино и по тракту на Оханск.

Вера уходила на санях-розвальнях. К покрытому ов-

чиной «максиму» прижимались пулеметчики Рыков и Мыльников. Размахивая вожжами, отец погонял Буланку. Лошадь испуганно хрипела. Грохнул снаряд, пробил лед. Вода из полыньи окатила Веру.

В первой же за переправой деревушке она сушила у печки шинель, сапоги, гимнастерку. В кармане нашла бумагу — билеты в театр. Покрутила, перечитала: число, номер ряда и кресел. Выбрасывать было досадно, жалко. Пусть останутся. И, подсушив у печного горячего бока, Вера положила билеты обратно в карман.

Глава пятнадцатая

«МАКСИМ» И ПАРА БУЛАНЫХ

— Володьша! Снегу набери, воды натай!

— Это что, пулемет поить?

— Точно, догадлив. Заруби себе на носу, чтобы водица у нас завсегда в запасе была и не замерзала. В полной чтобы готовности.

— Слушаюсь, ваше благородие!

— Я те дам благородие, язык дверьми прищемлю. Ты покамест у нас на службе, за подносчика патронов, ну вот, и даром хлеб не ешь.

— Где он, хлеб-то?

Пулеметчики Мыльников и Рыков втащили в пустую, брошенную хозяевами избу заиндевелый «максим» и, вынувши тряпицы, принялись тщательно его протирать. Отец пока в дом не заходил, возился во дворе с булаными: кроме прежней верной лошадки, с которой мыкался по лесам и болотам, выбираясь из вражеских тылов, он в неразберихе отступления прихватил еще одну — приблудную, и тоже буланой масти.

Заглянув в замерзший колодец и убедившись, что воды не добыть, Вера набила ведра снегом и втащила их в избу. Разжигая печку, с грустью вспомнила свою роту, которую потеряла при отступлении. Где Тырышкин, Шабунин, Ванюша? Живы ли? И что с раненым Володькой, увезли или нет? И что будет с нею? Она понимала: теперь находится при деле и, пока с отцом и его друзьями, не пропадет. Но все же тяготилась своим неопределенным положением.

— Часа не пройдет, будет вам вода,— доложила она пулеметчикам.

— Ай да Володьша,— похвалил Мыльников.— Быть тебе у нас в расчете. Покажешь себя — к «максиму» допустим.

— Захочу — научусь. Да я и сейчас кое-что понимаю.

— Не хвались. На гашетку нажимать всякий дурак сумеет. Ты в пулемет вникни...

Вздохнув морозным паром, открылась дверь, и ввалился отец с побелевшей бородой и усами. Скинул задубевшие рукавицы, сунул руки к огню:

— Гляди-ка, Володьша за пулемет принялся...

— Как же,— ответил Рыков,— мы его в пулеметную веру перекрестим.

— Нашему теляти да волка съесть.

Кто его знает, что у тяти на уме? Вот уже дважды Вера подступала к нему с просьбой: определить ее в кавалерию. Давно, с самого села Голубихи, она мечтала об этом, все вспоминала белого коня, сахарное чудо. Мечта укрепилась в Перми, когда ночью на Сибирской она увидела кавалерийскую атаку. С тех пор ей все чудились вздыбленные кони, взметнувшиеся клинки и бегущие от них в ужасе белогвардейцы.

Вера не сомневалась, что вполне годится для кавалерии. Пусть рост подгулял и летами не вышла, но разве она с детства не скакала верхом? Управится с конем, с седловкой, а там научится владеть и шашкой. Только бы допустили. Как тятя не поймет, сам же коней любит!

Случайно она подслушала тятин разговор с пулеметчиками.

— Ты что, Данилыч, Верку поважаешь, всякие ее бредни слушаешь?

— Не Верку,— поправил отец,— а Володьшу. Да и бредни ли?

— А что же еще? Девка — верхом, ну разве не бредни? — наседал бойкий Рыков.

— Ты же ее толком не знаешь. Между прочим, я говорил с командиром эскадрона... Нужны ему вестовые для связи.

— Может, и правда,— вмешался рассудительный Мыльников.— Полк-то запасный. Будет скакать по поручениям, оно и спокойнее... А у нас — при пулемете — тоже не сахар.

— Вот я и раскидываю...

«Запасный полк? — подумала Вера.— Ну и что? Се-

годня запасный, завтра — передовой. Вон в Перми, кто в атаку шел? Они. Комполка Зеленцов впереди. Не беда, что и вестовым. Только бы определили, а там поглядим!»

Она наготовила воды столько, что хватило напоить и буланых, и пулемет, и еще ведро в запасе осталось. Пригодится.

Утром вспыхнул бой.

Только с реки донеслись выстрелы, отец был уже на ногах и запрягал буланых. «Максим» стоял на розвальнях. Вода была залита в кожух.

— Пошел!

Вера едва успела прыгнуть на задок саней. Со двора отец погнал рысью. Повозка запрыгала по смерзшимся сугробам. Тятя гикнул, взмахнул вожжами. Буланые ударили в галоп и, вспарывая снег, лихо взлетели на бугор. В морозном тумане открылась широкая Кама в снежных наметах и застругах. По белому насту двигалась неровная черная цепь солдат. Передовые достигли середины русла, а позади, с крутого берега, сползали, съезжали на задах новые и новые.

— Данилыч, кругом марш!— вскрикнул Мыльников. Но команды не требовалось. Одержав буланых, отец круто развернул сани. «Максим», за щитом которого нахохлился Мыльников, хищно глянул на Каму. Вера свалилась с розвальней. Не успела подняться, как заходило, забилось зеленое тело пулемета:

— Тра-та-та-та...

Приникнув к щиту справа, Рыков скинул рукавицы и сучил серую ленту с медными блестками патронов. Из дула рвался пучок синеватого пламени, оплавляя снег под стволом.

Прижатая пулеметом, черная цепь откатилась, оставив убитых и раненых.

Отец выпряг буланых, повел за бугор.

— Верка, патроны! — окрикнул на ходу.

Она вспомнила, что у Рыкова всего-навсего одна запасная лента, и поползла к пулемету слева — туда, где «максим» выталкивал из щели серую полотняную змею-ленту. Подхватила ее рукой и прыгнула в сани — там в цинке лежали патроны.

На минуту «максим» замолк, пока пулеметчики не зарядили его вновь. И как раз в это время засвистели пули откуда никто не ожидал. Полетели пули уже не

от реки, а с деревенской околицы. Сжимая ленту с пригоршней патронов в ладони, Вера уткнулась в снег у самых полозьев.

— Ребята,— услышала голос отца. — Белые в деревне... Жги туда!

Недоглядели. Видно, по излучине реки белогвардейская цепь перешла на этот берег.

«Кто деревню взял, тот и пан»,— мелькнуло у Веры.

— Пулеметчики, пли! — кричали наши пехотинцы.

Мыльников развернул «максим» и, прильнув к прицелу, ударил по околице, нащупывая беляков. Стрелял скупо, короткими очередями.

— Володьша, ленту! — зло крикнул Рыков.

— Щас, щас...

Рукавицы мешали. Сбросила. Патроны прилипали к коже. Один за другим она заталкивала их в тугие, затвердевшие гнезда. Считала: пять... десять... двадцать...

— Вжжу... вжжу,— пели пули.

Тянуло пасть плашмя, зарыться в снегу.

— Двадцать пять... тридцать...

Очереди становились все короче: лента кончалась.

— Скорее, мать...

— Щас,— не чувствуя пальцев, Вера протянула Рыкову набитую патронами ленту.

— Слава богу и всем святым! — проворчал Рыков.

Струя пулеметного огня косила белогвардейцев, отрезала их от деревни. Дело довершил подоспевший кавалерийский эскадрон.

И снова Вера увидела скачущих коней, дымящийся за ними снег, сверкающие шашки. Перевалив через бугор, кавалеристы развернулись в лаву и, рубя наотмашь, погнали белых за Каму. Среди всадников Вера отличила одного — коренастого, в ладной шинели, перепоясанного ремнями, с деревянной коробкой маузера на боку. «Наверное, это и есть командир эскадрона, с которым говорил обо мне тятя»,— подумала она.

Но еще целую неделю она путешествовала на буланых с пулеметчиками. Напоминать о своей просьбе отцу Вера боялась, знала, не любит, когда повторяют — «не глухой, не беспамятный». Ждала. Если решил — сделает.

Часть вторая

АЛЛЮР ТРИ КРЕСТА

Я опустила поводья, и мой конь, верный
превосходный конь мой, перескочил ров
и прямо через кустарник понес меня быстрым скоком
прямо к полку, догнал его в четверть часа
и стал в свой ранжир.
Надежда Дурова. «Записки кавалерист-девицы»

Глава первая

ВЫШЕ ЛОШАДИ, НИЖЕ СОБАКИ

Чтобы получше откозырять, Вера сняла шерстяные рукавицы — еще маминой вязки, подышала на руки: с самого рождества морозы не спадали. Тихонько открыла дверь в сенцы. Пахнуло теплом и сытным желанным духом свежеиспеченного хлеба.

— Разрешите войти? — проговорила заранее заученные слова. Простуженный голос сорвался.— Р-разрешите?

Никто не ответил. В избе было на удивление чисто. У порога лежал свежий березовый голик. Под ноги стлался цветастый половичок.

Вернувшись на крыльцо, Вера обмахнула сапоги и решительно вошла в зал. В просторной светлой комнате с вымытыми полами, столом и покрытой лоскутным одеялом кроватью находился всего один человек, маленький и тщедушный. Но от его одежды нельзя было оторвать глаз. Подогнанный по росту офицерский френч с накладными карманами, темно-синие галифе гвардейского сукна с широкими красными лампасами и ловкие, по ноге, сапожки со шпорами. Сидел под киотом и гляделся в вынутый из ножен клинок.

Он поднял голову, и Вера тотчас увидела, что перед ней такой же подросток, как и она сама. Курносое лицо было к тому же грязноватым и заспанным.

Шмыгнув носом, паренек посмотрел на Веру маленькими сердитыми глазками:

— Кто такой?

— Я? Холкин,— не докладывать же ему по всей форме. Хоть и нарядился, чики-брики, и при шашке, все равно никакое не начальство.— Холкин, тебе говорю, красноармеец. Назначен в кавэскадрон.

— Предъяви документ!

— Да кто ты есть?

— Не видишь — погляди. Кавалерист, а не как ты — серая пехота.

— Сметанник ты, а не кавалерист.— Вера в сердцах выпалила оскорбительное прозвище, которым, случалось, пехотинцы награждали конников, полагая, и иной раз не без основания, что те первыми успевают заполучить трофеи и подхарчиться в занятых селах.

Пожалуй, она пересолила. Парень мог наябедничать новому начальству, и тогда прости-прощай ее назначение. Но слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Надо быть поосторожнее и больше помалкивать.

Замолчал и мальчишка, насупился, изредка поглядывая на нее с нескрываемым презрением и злостью. Связалась на свою голову! К счастью, ждать пришлось недолго. В избу вошел командир эскадрона Дробинин, тот, которого Вера видела с неделю назад на камском берегу во время кавалерийской атаки.

Дробинин скинул прямо на пол ремни с шашкой и маузером, длиннополую шинель и барашковую шапку и показался ниже ростом, приземистее. Френч, синие галифе и сапоги со шпорами — все было таким же, как у этого заносчивого парня, только не новое, а ношеное, обмятое.

— Витька! — строго спросил он, не замечая Веры.— Почему Чернышева нет? И обед не на столе? Передал старшине мое приказание?

— Н-не успел,— мальчишка вскочил и прижал ладонь к пухлой, в разводах грязи щеке.— Зубы болят.

— Знаем. Мастак ты зубы заговаривать. Марш к Блохину!

Схватив шинель и шашку, зло взглянув на Веру, Витька кубарем вылетел на улицу.

«Ну сейчас не наябедничает,— успокоенно подумала Вера.— Получил взбучку, и поделом». Она вытянулась по стойке «смирно», бойко отрапортовала Дробинину о своем прибытии и протянула бумагу из штаба.

— Холкин? — строго сказал Дробинин, пробегая глазами предписание.— Помню. Мне про тебя говорил

Данилыч из пулеметной команды. Он человек серьезный. К тому же — истый лошадник. ...Постой, постой,— комэск придирчиво осмотрел Веру.— Он что, твой отец? Как же — Кузницын, а ты — Холкин?

— Вотчим он,— быстро ответила Вера, готовая к такому вопросу.

— Понятно. Значит, ты рассчитался и с пехотой, и с пулеметчиками? Не пожалеешь?

— Никак нет. Хочу служить в кавалерии.

— Похвально. Ну, а верхом умеешь?

— Так точно. Сызмальства приучен.

— Ну-ну. Рискнем... Голоден?

На обед дали, увы, то же, что и в пехоте,— жидкую похлебку из воблы и ячневую кашу без масла. Правда, хлеб был немороженый, мягкий, прямо-таки дышал, как живой. Такого не едала с самой Лобвы. Понравилось ей и то, что обедали семейно, усевшись вокруг стола, и каравай, разрезанный на доли, стоял посередине.

Сидели впятером. Кроме Дробинина, Витьки и Веры было еще двое: очень похожий на Витьку лицом, но одетый просто — в потертую гимнастерку — спокойный, вежливый помощник командира эскадрона по фамилии Чернышев и старшина эскадрона Блохин — широкогрудый, гвардейского роста, бородатый, сильно смахивающий на казака Кузьму Крючкова, каким его Вера видела на картинках.

Разговор шел тихий, неспешный — про коней, овес, амуницию и ковку. Она в него не встревала, хлебала аккуратно, стараясь не торопиться, не выказывать голода, не чавкать. И все же Витька опять к ней прицепился. Когда старшина разложил кашу по котелкам и мискам, тот, уколов Веру ехидным взглядом, сказал:

— Все брешут, что верхом ездили. И ты, Холкин, скакал?

— Ну.

— Только как? Известно, охлюпкой. Если в седло влезешь, сразу сиделку натрешь.

Она промолчала, хотя каша застряла в горле. Что он понимает, этот Чики-брики, чего видал? Узнал бы, что она в разведку ходила, в атаках побывала, мигом бы заткнулся. Не рассказывать же ей об этом: командиры подумают, расхвастался.

— Слышь, Холкин,— не отставал Витька,— ты, говорят, шибко ученый, вот и отгадай загадку.

— Какую? — Она задержала у рта ложку с кашей.

— Что выше лошади, ниже собаки?

— Собаки? — минуту-другую она соображала, морща лоб, но ответа не находила. Тут была какая-то заковырка: неспроста помянул про лошадь. Надсмеяться хочет. Ладно. Коли не ответила, она его сама прищучит.

— А вот ты скажи, что такое: побегушки бегут, поползушки ползут?.. Ага, не знаешь? А еще: старший брат меньшего догоняет? Не слыхал?

Витька озадаченно чесал косматый затылок.

Командиры хохотали. А Чернышев (Вера догадалась: он старший Витькин брат) сказал:

— Ты, Холкин, видать, за словом в карман не полезешь. И что грамотный — это хорошо. Наш Витька едва по складам читает... Так что же это «побегушки и старшой с меньшим»?

— Первое: телега и сани, а второе — колеса.

— То-то. Ты только на телегах да на санях и ездил,— съязвил Витька.— А кавалерии в глаза не видывал... Выше лошади, ниже собаки — это же седло!

После Перми, за Камой, замечала Вера, леса стали пожиже, а елки — пониже. День за днем она, безлошадная, ползла за эскадроном на санях, в обозе: у Блохина под рукой, старшим, куда пошлют.

А порядки пошли строгие, не сравнить с прежними. Получил приказание — повтори. Выполнил — доложи. Что ни день — то построение. Дробинин, Чернышев, Блохин каждого бойца и коня оглядят, каждую оплошку отыщут: обмундирование не пригнано, винтовки и карабины не смазаны, седловка плохая, шашки притупились. Где подольше остановка — непременно занятие: оружие изучать, конный строй, команды: кое-кто из бойцов пробовал ворчать: мол, в бой пойдем, там и шашки навострим, а то служба хуже царской. Дробинин и Чернышев сразу осекли: не понимаешь текущего момента. Не партизанский отряд, а регулярная часть Рабоче-Крестьянской Красной Армии!

Главное же, сил заметно прибавилось.

Вернувшийся из штаба дивизии Блохин рассказывал, что в Вятку наезжала из самой Москвы важная комиссия, учинила суровый разбор пермского отступления и привезла от Ленина строжайший приказ: впредь

не отступать, а бить Колчака насмерть. Сказывал старшина, что много партийных людей прибыло в воинские части.

Однако доходили и тревожные слухи. Кое-где колчаковцы наступали, теснили наших. Взяв в кольцо, захватили Нытву. Правда, держали недолго. Красные полки нанесли им удар, вернули станцию и нашли там следы страшной расправы: изуродованные трупы раненых красноармейцев, расстрелянных и замученных женщин, стариков и детей.

А в Нытве были мать Веры и Сережа, полный эшелон лобвинцев... Что с ними сталось?

Даже поделиться своим беспокойством, потолковать и посоветоваться Вере пока было не с кем. В кавэскадроне почти еще никого не знала. Подойти к Дробинину или Чернышеву не решалась — чужие еще командиры, да и заняты по горло. Блохин показался суровым и нелюдимым, всегда поглядывал из-под мохнатых бровей придирчиво и строго, вроде отыскивал, что не так в обмундировании. Это не ротный старшина Петраков, говорун и хлопотун. Не с Витькой же, насмешником, хитрым лодырем, ей говорить о матери и Сереже!

С тятей бы встретиться. Но, как назло, пути эскадрона и пулеметной команды не пересекались.

На пятые сутки безлошадной службы случились у Веры две радости — одна нечаянная, а вторую она дожидалась каждый день и час.

Первая — встреча с Ванюшкой Горбуновым.

Было это под вечер. Замерзшая и голодная, она неловко слезала с облучка обозных саней, когда на улице показалась невысокая, подбористая фигурка пехотинца в короткой шинели. Вера первой узнала его.

— Ваня!

Горбунов торопливо подбежал к ней и — вот уж на него, сдержанного, спокойного, совсем не похоже — стал трясти за руку и хлопать по спине: «Здорово! Здорово!» А глаза его — синие-синие — так и заполыхали искрами.

Когда Иван радостно сказал, что назначен в кавэскадрон, Вера подумала: быть может, он соскучился по ней и потому тоже добился перевода в кавалерию. Подумала она как-то совсем не по-мальчишески, к чему приучала себя в последние месяцы, а чудно, вовсе по-девичьи. И на память ей пришли мамины слова, гово-

ренные в Лобве не единожды. Когда она, бывало,— в который раз! — стащит отцовские штаны, чтобы в них отправиться в Верхотурье с пакетом, или примется гонять с мальчишками по дворам, лазить по крышам, мать ее срамила: «Ни стыда ни совести, посмотри на себя: невеста уже, приданое собираю, а ума ни на грош». «А вдруг Ванюша — жених?» — подумалось ей.

Кровь прихлынула к щекам... Смешно: невеста. Да Горбунов и представить себе не может ее девушкой. Володьша — вот кто она для него!

Вера отвела глаза, чтобы Иван не догадался, о чем только что думала, спросила:

— Как там наши-то?

— Да ничего... Живы. Тырышкина на батальон назначили, Шабунин — ныне ротный. Петраков как и был. Велели тебе кланяться.

— А Володька?

— Что Володька? Сам, небось, видел: поранили.

— И как?

— Да никак. Не знаю. Увезли.

— Врешь! Говори!

— Ладно. Нет Володьки. Помер.

— Совсем? — бестолково переспросила Вера.

— Совсем.

Вон как обернулось. Обрадовалась встрече. Бог весть что в голову взбрело: жених и невеста. А Володьки нет. Помер. Нет его, толстяка, кость широкая, а сердце доброе, ответное. Кто, как не он, тогда на нарах поделился куском хлеба, кто всегда с ней вместе и радовался и горевал? И больше она никогда его не увидит. Беляков вышибем, а его не будет никогда.

Ей отчаянно захотелось в голос, по-бабьи, завыть. Глотая слезы, Вера молчком повела Горбунова к командиру эскадрона.

Поздно вечером в избе погасили лучину. Наговорившись досыта, подростки завернулись в шинели и улеглись на пол поближе к печке, когда в избу, грохоча сапогами, ввалился Блохин. Легонько толкнув ножнами Веру, сказал:

— Ну, братец, радуйся, завтра получишь коня.

Мигом улетучился сон. Ее поразил не только смысл сказанного, но и голос старшины, и его особенные слова: «братец», «радуйся». Таких от него не слыхивала. Про коня промолвил, словно песню пропел.

Ворочаясь на твердом полу, Вера пыталась заранее увидеть своего коня.

Конечно же, она не дурная и не ждет, что поутру подведут к крыльцу белого красавца из села Голубихи. Куда уж там. Не по носу, не по чину ей это сахарное чудо. На таком-то распрекрасном жеребце впору прокатиться разве что командиру полка. В воображении являлись к ней одна за другой едва ли не все виденные за короткий век и запомнившиеся чем-то лошади. Пришла добрая, с мягкими, ласковыми губами, лобвинская кобылка, по кличке Мать-моя. Та, на которую подсаживал ее отец, и она легкой трусцой скакала через деревянный мосток в ближнюю сосновую рощу. Повидала и Буланку. Запряженную в пулеметный возок, ее вел под уздцы отец по темному дремучему лесу. Вера рысила и на пузатенькой ротной лошаденке, которую дал ей Шабунин, отправляя вместе с Ванюшей в разведку. Она узнавала грозные очертания взметнувшегося кавалерийского коня и на нем плотную фигуру комполка Зеленцова с поднятой к небу сверкающей шашкой, как тогда в ночной Перми...

Увидела она своего коня. Он представлялся ей красивым, смелым, умным и добрым.

Верхом на этом чудесном скакуне Вера и заснула.

Глава вторая

ВОТ ТЕБЕ И ВОРОНОК!

К эскадронным лошадям Вера успела присмотреться: разномастные деревенские и заводские меринки и кобылки, не избалованные овсом. Настоящих строевых кавалерийских коней было раз-два и обчелся.

Проходя вслед за Блохиным мимо уже знакомых пегих, буланых, гнедых и каурых, она нетерпеливо искала новенького коня.

Он стоял у коновязи последним. Вера взглянула на него и обомлела.

Батюшки мои! Так он похож на голубихинское страшилище, на того вороного жеребца, которым в поповской усадьбе беляки подменили сахарного красавца скакуна. Не отличишь. Тоже здоровенная, как у битюга, грудь, ноги коротковаты, а на широкий круп хоть теле-

гу поставь. И высок, куда больше двух аршин, и длинен. Не тот ли самый?

— Вот и твой Воронок,— ласково сказал старшина.

— Ну-кось, Холкин, достань до холки! — крикнул шедший позади Витька Чернышев. Без него и тут не обошлось...

Вера задумчиво огладила Воронка по заиндевелым бокам, расчесала пальцами спутанную гриву. Конь медленно повернул к ней острую хитрую морду, подозрительно глянул влажными сиреневыми глазами, оскалил зубы, словно сказал: «Ладно, я-то плох, а каков ты есть?»

— Холкин, айда в обоз,— приказал старшина,— выдам-ка я тебе доброе оружие и конскую сбрую.

В крытом дворе стояли обозные фуры и сани, застланные рогожами. Приподнимая их, Блохин стал вынимать свои сокровища. Развернув тряпицу, достал короткую шашку в потертых ножнах, уздечку с потускневшими бляшками и мундштуком, множество ремней и ремешков, назначение которых Вере было не совсем ясно. Раскладывая все это на снегу, старшина наигрывал на губах и напевал:

Та-та, та-та, та-та,
Тра-та-та-та!..
Правым плечом дружно
На левый фланг врага...

— Не слыхал небось? То-то. Кавалерийская, братец, команда. Лихо, верно? Как пропоет труба, кони вздрогнут, люди подберутся и цепью, а то лавой,— понеслись...

Огладив казацкую бороду, сказал:

— А то другая есть команда — раздумчивая, аккуратная. Слушай:

Рысью размашистой,
Но нераспущенной
Для сбереженья коней.

Вера слушала затаив дыхание и повторяла про себя.

— Пуще же всего уважаю я такую команду:

Скачи, лети стрелой!

«Да,— удрученно подумала Вера.— Только на моем Воронке и скакать-летать стрелой-то».

— И чего это я разболтался да распелся,— оборвал себя старшина.— На-ко вот получай... Седло русское — видишь, луки высокие, сидишь как влитой. Кто какое седло выхваляет, англицкое там или казацкое, а я считаю, лучше этого нет. А еще тебе причитаются две передние и две задние сумы, подпруга, потник да подхвостник и еще двенадцать тренчиков... Бери, пока добрый. А вот шпор, извини, не имеется. Добудешь сам.

Едва успела Вера перетаскать амуницию в избу, как ее вызвали к командиру эскадрона. Дробинин сидел за столом на лавке, и перед ним лежала куча бумаг. Вера представилась как положено.

— Здравствуйте, красноармеец Холкин. Подойдите поближе. Так. Это вот — что такое?

— Газета.

— Правильно. А как называется?

— «Красный набат», нашей, 3-й армии газета. Да я сколько раз ее читал еще в Екатеринбургском полку.

— И мне прочтете.

— Всю?

— Нет, только стих. Вот тут в уголке.

— Заглавие,— торжественно пропела Вера,— «Вперед, на Урал»,— и, набрав в грудь побольше воздуха, усердно, на всю избу, закричала:

На Урал, а за Уралом
Для голодных хлеб найдем.
Смерть всем царским генералам
Мы с тобой туда несем.
Сабли наши крепкой ковки,
Братьев кровь зовет нас мстить.
Целься, меткие винтовки,
Белых надо угостить.

Она ни разу не сбилась и, довольная собой, положила газету на стол.

— Как? Понравилось? — спросил Дробинин.

— Даже очень. Сабли-то: крепкой ковки.

— И мне понравилось: читаете бойко. Только орать ни к чему. Надо душевно, с толком. Вижу теперь — грамотный. Так вот направляю вас, Холкин, в штаб полка, вестовым. А также по поручению комиссара станете доставлять газеты в роты и к нам в эскадрон. Ясно?

— Так точно.

— Грамотеев у нас не слишком много. Потому и будете читать газету для всех вслух, а кому и пересказывать. Поняли?

— Понял.

— Можете быть свободны, товарищ Холкин.

Вечером Вера чистила сбрую. Разбираясь в ремнях и ремешках, вслух пожалела, что недостает ей шпор:

— Какой без них кавалерист?!

— А шпоры-то есть,— подсказал Витька Чернышев.— И знаю у кого.

— Ну?

— У Цыганка. Да ведь не отдаст.

— Это почему?

— За здорово живешь не отдаст, а променять может.

— Что в промен?

— Спроси — скажет.

Черноволосый, бородка из кольца в кольцо, черноглазый боец, по прозвищу Цыганок, очень дорожился. Не вынимая шпор из сумы, набивал цену и выторговал у Веры четверть фунта сахару и пачку саратовской махорки — весь месячный паек. Сунул покупку за пазуху, и был таков.

Шпоры оказались железными, ржавыми и — батюшки мои! — такими здоровенными, что каждая могла обхватить оба сапога. До полуночи Вера драила их толченым печным кирпичом, изо всех сил гнула, пока не приладила к каблукам. Прошлась по половицам, и от железного грохота проснулось полвзвода. Ее нещадно ругали. Витька же Чернышев, очень довольный, заметил:

— А шпоры-то вовсе и не кавалерийские...

— А какие?

— В артиллерии ездовые такие-то носят. Битюгов ими подгоняют, которые пушки волокут.

Разбуженный шумом старшина Блохин, поворчав, сказал:

— Хватит, Володьша, не мельтеши. Ложись. Воронок-то у тебя у́росливый...

В полдень Вера прибыла к комиссару полка Абрамову и получила у него газеты, два тючка: потоньше — московская «Правда», потолще — «Красный набат». Приторочила их к седлу: один к передней, другой к зад-

ней луке. Сунув ногу в стремя, скакнула и вскарабкалась на Воронка. Уселась меж тючками, как меж горбами.

— Чисто верблюд,— засмеялся часовой у штаба.

— Сам верблюд,— сплюнула Вера.

Разобрав поводья, поехала по деревне шагом. Жеребец шел тихо, послушно. Но Вера была настороже. Кто знает, что придет ему в башку. Прошлый раз тоже шел не спеша, но стоило ей задуматься, как хватил рысью, потом в галоп. Мчал по дороге как оглашенный и вдруг встал как вкопанный. Не успела удержаться, очутилась в сугробе. Отчего остановился? Непонятно. Поди разберись, что его притягивает. Мимо целый обоз пройдет — никакого внимания, а увидит у конских орехов стайку полузамерзших воробьишек — и замрет. Морду опустит, разглядывает. Эка невидаль.

С кормами — хуже некуда. Фуражиры доставляют редко, выдают бедно. Одна надежда на себя — где вымолишь, где словчишь. Третьего дня на станции Балезино выклянчила у железнодорожников клок сена — около пакгауза лежало. Скормила коню. Теперь, как станцию проезжать, так тот норовит туда свернуть, хоть поводья оборви, тянет, и только. Где позавтракал, туда и обедать стремится.

За размышлениями Вера не заметила, что конь прибавил ходу. Спохватилась, когда перед лукой запрыгал «Красный набат».

— Тише, Воронок, тише!

Какой там. Вытянув короткую шею, прижав уши, жеребец пошел наметом. Кованые копыта отбрасывали снежные ошметки. Тяжелый круп оседал и поднимался, как ладья на волнах.

— Ну, дурной, перестань,— упрашивала Вера и так натягивала поводья, что рисковала удилами высадить Воронковы скулы. Но жеребец был неудержим, рвал поводья из рук.

Трусились в тючках газеты. Обочь замелькали сугробы, окна изб, жердины заборов, под ноги коню стремительно убегал санный след.

Неожиданно Воронок потянул влево, круто, на полном скаку, свернул в проулок. Перед Верой вырос дом с резным петухом на коньке. Мелькнула мысль: «Нынче поутру здесь кормила Воронка».

Впереди возникли полураскрытые ворота с низкой

притолокой. Хватит головой, убьет! Попыталась пригнуться — помешал газетный горб. Изловчившись, Вера смахнула тючок, пала на холку. Ствол винтовки успел нырнуть под перекладину, и все же та толстенная плаха пребольно хватила Веру по спине.

Воронок влетел во двор и встал, поводя боками, жадно потянул морду к амбару.

— У, орясина, идол непутевый, навязался на мою голову,— кляла его Вера, глотая слезы.— Тебе и горя мало, стоишь, шары выкатил!

Покряхтывая, поглаживая хребет, она собирала рассыпавшийся на хрустком снегу «Красный набат».

Вечером, читая бойцам-кавалеристам газету, она все еще чувствовала боль в спине.

Глава третья

ПАКЕТ В ШАПКЕ

Поблизости от околицы навстречу попался санный обоз. Пожилые бойцы везли прикрытый рядном и рогожами разный припас. Судя по тому, как тоскливо заржал Воронок, были у обозников овес или сено. Остановиться и попросить? Нельзя: начштаба ждет срочный пакет. Вера сняла рукавицу и, привстав на стременах, подняла правую руку, показала три растопыренных пальца: пропускай немедля, аллюр три креста! Действительно, на пакете были начертаны три крестика.

Чмокнув, возница на головных розвальнях передернул вожжами, и лошаденка испуганно подалась вправо. За первыми потеснились и другие сани. Жеребец, косясь на обоз, проскакал по узкой дорожке.

Грохоча шпорами, Вера вбежала в избу:

— Товарищ начальник штаба, красноармеец Холкин пакет доставил. Получите.

— Давайте, товарищ красноармеец. Благодарю за службу.— Начштаба Смелов, худощавый, вытянутый в струну, из бывших офицеров, был всегда ровен в обращении, вежлив. К нему относились по-разному — иные верили, иные сомневались, но все считали: человек справедливый, напрасно не скажет, зря не пошлет.— Вот что, юноша. По божьему и солдатскому закону вам следует отдыхать. Но обстоятельства такие, что опять

ехать надо. Ваш Чернышев доложил, что занедужил. Остальные — в разгоне.

«Знаю, как Витька занедужил,— с досадой подумала Вера.— На дворе мороз, вот и притворяется, хитрован». Но сказала:

— Как прикажете.

— Вот и отлично. Возьмите письмо. Доставьте в тыловую команду. Можно не торопиться. Аллюра на конверте не указываю. Ну что ж, заранее благодарен, товарищ Холкин.

Дорога была светлая, наезженная до самой реки. Скакать нетрудно, разогретый недавним бегом, Воронок шел плавной широкой рысью и не выкидывал никаких коленцев. Вера вспомнила вчерашний разговор с Блохиным: «Ты, Володьша, уважай коня,— говорил старшина.— Не беда, что нескладен и с виду диковат. И в мыслях не держи, что он какой-то урод,— мигом догадается, скотина понятливая. Ты его люби и почитай самым наилучшим красавцем. Конь в это и сам поверит».

Ветер усилился, вихрил снег, заворошил черную в серебристых льдинках гриву Воронка. А что? Красивая грива. Она ласково потрепала рукой. И шея хороша — крутая, могучая... Поездка тоже неплоха: начальник хозяйственной команды Минаков — знакомый, алапаевский слесарь, у него можно и отдохнуть, и подхарчиться, и коня упродовольствовать.

Через час пути, проскакав по одетому в белую шубу льду реки, Вера спешилась в центре села у пятистенной избы. Хозяйственная команда устроилась недурно. Тут и просторный двор с повозками, и амбар с припасами, и кузница, где ковали коней и чинили оружие.

— Здравия желаю,— перенятым у старшины приветствием обратилась Вера к часовому.

— Здорово,— строго ответил тот.— Проходи, да побыстрей.

Странно: из дверей избы торчал ручной пулемет.

Изба была полна народу. Тыловики вооружились с головы до ног. Винтовки за плечами, на поясах — ножи, шашки, револьверы, гранаты. Небось весь полковой склад на себя надели. Под божницей стоял «максим». Слышался глуховатый голос Минакова:

— Пулемет на площадь — простреливать большак... Троих — к церкви...

Увидев вестового, не дал доложить, спросил:

— Холкин, зачем?

— От начштаба письмо.

— Давай.

Короткими, с въевшимся металлом пальцами вскрыл конверт, прочел:

— Э-э, не до ремонтов теперь. Тут дело по-другому поворачивает. Не мы, а нам пособлять надо...

— Что случилось?

— Беда. Мужики тайно доложили, что здешние мироеды бунт готовят. Все у них заметано, часу ждут. И начальник объявился — белый офицер. Мы тут как в мышеловке, не управиться: хромая команда. Хотел послать за подмогой, а у меня три дохлые клячи — вся кавалерия... Слушай, может быть, ты поскачешь?

— Ну что ж,— растерянно согласилась Вера. Плакали и харчи, и сон, и Воронков овес...

— Я тебе на том же пакете и напишу...— Минаков вынул огрызок карандаша.— Извини, брат, что не принял и не угостил... На вот пакет. И гони, гони — аллюр три креста!

— Есть.

— Постой. Хлебушка хоть пожуй.

— Ладно уж...

Когда она вскочила в седло, Воронок удивленно повернул морду, ударил копытом.

— Ну, пошел, пошел, милый,— она понужала его шпорами, похлопывала по холке.

Конь неуверенно тронулся, затрусил, поминутно оглядываясь и норовя свернуть в первый попавшийся проулок. Он все надеялся, что где-то рядом ждет его заслуженный отдых и корм. На околице жеребец вовсе встал и набычился. Вера почувствовала во всем его неладно скроенном, но крепко сшитом теле злую обиду и упрямство. Воронок был против нее.

И против нее были и мороз, и ветер, и быстро встававшая от земли густая темнота.

Поднялась метель. Низовой ветер хватал снег и крутил, перемешивая, словно огромной лопатой в чудовищном котле. Когда, вздыбив коня удилами и плетью, она все-таки погнала его вперед, колкая снежная крупа ударила в лицо и запорошила глаза. Она оглянулась: село пропало, его поглотила пурга.

На реке ветер был особенно пронзительным и свирепым. Воронок шел тяжелой рысью и как-то боком,

спотыкался на застругах, зло рыскал из стороны в сторону и, выбравшись на берег, сразу же потерял дорогу. Теперь он переваливался, нырял из сугроба в сугроб, с трудом вытаскивая то передние, то задние ноги. Веру качало. Она едва держалась в седле.

С каждым прыжком иссякали силы коня. Скок он сменил на сбивчивый шаг, тяжко перебирал ногами, все глубже погружаясь в рыхлую пучину. Сапоги с железными шпорами бороздили снег.

Пурхаясь, дрожа, Воронок загруз по брюхо, хрипло заржал и затих. Вера перевалилась набок и упала рядом с ним. Конь тяжко дышал.

— Родненький, хороший, ну встань, ну поднимись,— уговаривала она, гладя его морду и чувствуя, как под горячим, прерывистым дыханием жеребца вытаивает снег, образуя льдистую ложбинку.

— Пакет у меня, аллюр три креста... Ехать надо... Пропадут люди...

Воронок тихонько, беспомощно заворошился.

Вскочив на ноги, утопая в снегу, Вера ожесточенно потянула его за повод: — Встать, гад, встать! — И подняла плеть...

Воронок глухо заржал. Она опустила плеть.

Ничего другого не оставалось, как добираться пешком, ползком, но во что бы то ни стало доставить пакет. Только бы отыскать дорогу. Мешали волочившаяся шашка, патронные сумки, винтовка. Сапоги черпали снег. Дыхание замерзало. Руки задубели.

Наконец она уперлась в твердый наст и распрямилась. Ощупывая ногами дорогу, пошла, поминутно забредая в снежные наметы. Сколько же ей идти? И куда?

Она продолжала упрямо шагать, как вдруг услышала за спиной глухой, неверный топот.

Вера оглянулась.

Из снежной круговерти вываливалась фигура коня. Выбеленный в снегу, Воронок тащился следом и, напрягая короткую шею, тянулся к Вере своей острой мордой. Он поравнялся и стал, дрожа широким крупом.

— Воронок! Ты, ты?!

Жеребец заржал громко и радостно.

Нащупав качающееся стремя, Вера попыталась ступить в него одеревеневшей ногой, но не смогла, не хватило сил. Тогда она сорвала с себя ремень и непослуш-

ными пальцами продела его в стремя, замкнула пряжку. Ступив в петлю, потом в стремя, она, словно по ступенькам, взобралась на коня и плашмя упала на седло. Сесть так и не смогла.

— Пошел, Воронок... Пошел!

И конь послушно зашагал, копытами осторожно пробуя снег, выискивая твердый наст, надежную дорогу. Выбравшись на нее, Воронок зарысил, бережно неся лежавшую поперек седла всадницу. Вера была в полузабытьи.

Она очнулась, когда конь остановился у избы. В окошке тускло светил огонек.

Из дверей выбежали люди. Веру внесли в душное, пропахшее махорочным дымом тепло. Начштаба растирал ей лицо, руки, снимал шинель...

— Пакет,— доложила Вера,— в шапке... И еще... Шинелку возьмите и накройте ею Воронка.

...Под утро за реку ушел отряд конников. На буксире двигались пехотинцы-лыжники. Привязанные веревками к седлам, они мчались за эскадронными конями и еще затемно были в селе, где кулаки готовили бунт. Красноармейцы поспели вовремя. Бунт подавили в самом зародыше.

Глава четвертая

ШУ-УРОЧКА

Забот хватало: в караул сходи, пакеты отвези, «Красный набат» доставь, коня почисть, корму ему задай.

А тут еще одна нежданная докука: эта самая Шу-урочка!

Так себя и назвала: «Я Шу-урочка». Объявилась прямо-таки на радость и удовольствие Витьке Чернышеву. Как завидел их вместе, так и заверещал:

— Жених и невеста! Жених и невеста!

— А хотя бы и так,— отрезала Вера.— Тебя-то завидки берут? Сопли прежде подбери.

— Ишь ты, Володьша, кавалер, половик прогорел,— горланил Чики-брики. «Кавалер» — это он у Дробинина перенял.

— Молчи уж,— огрызалась Вера.— Кто на тебя взглянет, неумытого?

Отбрехалась она легко, дело нехитрое. Но толку

что? От Шурочки проходу нет. Вернешься с поездки или с поста, Воронка обиходишь, зайдешь в избу, а она тут как тут, сиднем сидит:

— Здравствуйте, Володя. Только что зашла попроведать...

Черти ее принесли. Хотя по правде сказать, девчонка на вид неплохая, из себя симпатичная. Все при ней: коса льняная чуть не до подколенок, личико приятное, носик ровненький, щечки с румянцем. Кругом аккуратненькая. Любому бы парню глянулась. Ну а Вере-то к чему? Ой-ей-ей! Забывать нельзя: ведь она парень и есть, а потому хочешь не хочешь, а надо держать мущинскую линию...

— Здорово, Шурка! Как живешь-можешь?

— Спасибочки, хорошо. А вы как, Владимир?.. Где побывали, что повидали?

— Где бывал — отсюда не видно.

— Что-то вы больно скрытные.

— Много будешь знать — скоро состаришься.

— А я вот и знаю: с дяденькой Блохиным на чугунку ездили.

— Дозналась?

— И сама могу догадаться.— Она принялась кокетливо переплетать и без того тугую и гладкую косу.— Вы не обижайтесь, Володя, я вам малинки сушеной принесла — от простуды, от кашля.

— Ну что ж, коли принесла, давай.

Иное дело, когда Ванюша Горбунов ей сахару притащил, последним поделился. После той ночной суматошной скачки на Воронке Вера сильно простудилась, захворала. Тогда и отдал ей Горбунов все свое сахарное довольствие — четверть фунта. И принять его было приятно — друг не забыл, позаботился. А с этой Шурочкой — одни неприятности. И без малины бы обошлась.

Познакомил их Дробинин. Стала Вера выздоравливать — он ее в гости повел. У одной сестры милосердия из околотка были в поселке родственники.

Там-то, в гостях, и повстречались с этой девчонкой. Протянула та ладошку лодочкой: «Здравствуйте, я — Шу-урочка».

— Вот тебе, Шурка, и кавалер,— рассмеялся Дробинин.— Звать Володьшей, по фамилии Холкин. Лихой кавалерист.

Посадили их рядышком, у самовара. И все посмеивались: чем не парочка. Видать, Шура тогда и вбила себе в голову, что быть Володьше ее дружком.

— Володя... пойдемте к нам... маменька хлеб печет...

Свежего-то хлеба попробовать, конечно, очень недурственно. Да и Воронку овса можно добыть. Почему бы и не пойти?

Но согласилась не сразу:

— Погоди, дело есть.

В дом забежал Иван Горбунов. Он только вернулся из дальней дороги, конвоировал с другими кавалеристами санный обоз. Поздоровался и кинулся к печке, прижался к горячему ее боку, отогревается. А сам на Шурочку посматривает. Раз, другой — и даже улыбнулся своими синими глазами. Неужели она ему глянулась? Вере это вовсе не понравилось.

— Ну, Шурка, пошли,— решительно сказала она.— Все равно от тебя не отвяжешься, да и хлеб простынет. Айда!

Вот так. Пусть Ванюша знает, кто кому нравится. Уж лучше она с Шурочкой время проведет, чем Иван с ней станет в гляделки играть!

Дом у Шурочки был небогатый, но чистый-пречистый, с половичками, голубыми занавесками, салфеточками — все как у людей. Мать Шурочки, худенькая, хлопотливая, поставила на стол крупно нарезанный каравай, чашку с моченой брусникой, налила морковного чаю — угощение хоть куда.

— Не обессудьте, чем богаты... Кушайте, солдатик. И как такого молодого вьюношу на службу забрали?..

Когда мать ненадолго скрылась в сенцах, Шура спросила:

— Скажите, Володя, а у вас есть... знакомые... девицы?

«Есть одна, очень хорошо знакомая девица, Верой звать»,— усмехнулась про себя Вера. А сказала серьезно:

— Где уж нам, при нашей-то солдатской жизни с девушками вожжаться, не до того...

— А если бы одна девушка с вами завсегда вместе была...

— Ну?

— Воевала бы так же, как и вы...

— Девчонок не берем.

— Сестрой милосердной же можно.

— Бывает. Ну и что?

— Дружили бы вы с ней?

— Н-не знаю... Может быть, если бы смелая была, как парень.

Долго они не засиделись. Шура накинула тулупчик и потащила Володьшу по поселку. Шагали они медленно, с разговором.

Видать, Шуре доставляло большое удовольствие прогуливаться по улице с бойцом-кавалеристом при шашке и шпорах. И чтобы все подруги видели. Даже ладилась под руку взять.

И Вере вдруг стало ее очень жалко. Могла же она сама оказаться на Шурином месте. Чтобы и ей по душе пришелся какой-нибудь хороший парень. С ним... ну, скажем, с Ванюшей Горбуновым, она бы гуляла по улицам Лобвы. Разве бы не захотелось ей, чтобы они с Иваном шагали дружно, у всех на виду. Уж она бы повела Ванюшу и на лесопилку, где так чудесно пахнет сосновой смолой, и на речку, и в школу, чтобы видели все подруги.

— Зайдемте в нашу школу,— внезапно предложила Шура.

— Можно.

Они зашли в большой холодный бревенчатый дом и уселись рядышком на скамейке за длинный стол.

— Вот тут наша приходская. Сейчас только уроков нету. Я ее кончила, четыре класса. А вы из какого класса?

— Я-то? — переспросила Вера и, улыбнувшись, ответила с гордостью: — Из рабочего класса.

На обратном пути она разрешила Шурочке взять себя под руку: пусть уж покрасуется. Да и ей это совсем не во вред. Хотя бы Витьке Чернышеву досадит: вот идет Володьша Холкин вместе с красивой девушкой, пусть тот хоть лопнет от зависти.

Но навстречу попался не Витька, а старшина Блохин. Окинув парочку хмурым взглядом, он пальцем поманил Веру:

— Слышь, Володьша. Беда, брат. Воронок-то твой занемог. Ни корма не принимает, ни водицы...

Всю ночь провела Вера около Воронка. Поила его теплой отварной водой, угревала попонами, которые дал старшина, и своей шинелью, потчевала овсом, раздобы-

тым Шурочкой. К утру конь вроде бы отошел. Глядел весело, потряхивал гривой, нетерпеливо топтался в стойле.

Днем, в положенное время, она оседлала жеребца и поехала к комиссаровому дому, где получила тючки газет, а потом направилась в роты. По дороге заметила, что стал Воронок совсем не тот, что прежде, словно его подменили. Опустишь поводья, тронешь шпорами бока — ну-ка, мол, переходи на рысь, а он все плетется шагом. Упрямится? Да нет, не похоже, раньше сам, хоть и нежданно, рвался в скок, а теперь еле ноги волочит.

Думала: пройдет это у него, разыграется. Пусть даже подурит маленько, понесет ее галопом на станцию, где, случалось, лежали кипы сена, или влетит в знакомые ворота, во двор, где, бывало, баловали овсом. Нет, идет тихо, покорно, только головой потряхивает.

Разве теперь полетишь во весь дух с пакетом аллюр три креста? Нынешним-то ходом едва за обозом поволокешься. Да и то опасно. Ну-ка кулацкая банда нападет, или белый конный отряд прорвется — такие случаи нередки — тогда как? Шашку вон — и тихим шагом в атаку? Даже ускакать не сможешь, мигом срубят.

Блохин со всех сторон осмотрел жеребца, заглянул в зубы, помял бока и брюхо, тяжело вздохнул. «Видать,— сказал,— у коня становая жила надорвалась. Был Воронок, да весь вышел».

Жалость-то какая! И у́росливый, и чудной, и с виду диковатый, а все же свой он, родной. Как же без него?

Вера загоревала.

А тут как раз пришел приказ: срочно сниматься и следовать в другой населенный пункт — похоже, поближе к Перми, к фронту.

Собирались недолго. С грустью седлала Вера Воронка, чувствовала: быть может, в последний раз. И конь был тих, печален.

Едва завязался рассвет. Над заводским поселком, скованным безветренным крепким морозом, ровно в небо струились печные дымки. Вера и не заметила, как перед ней оказалась Шурочка. Она была в тулупчике нараспашку, сбившемся полушалке, с расплетшейся косой.

— Уезжаешь, Володя?

— Как все, так и я.

— Ну а об чем говорили, помнишь?

— Об чем же?

— Возьми меня с собой. Ну, возьми!

— Не могу. Не велик начальник-то.

— А ты попроси. Я — усердная. Хоть чего делать буду.

— А чего? Стрелять не умеешь, с конем не совладаешь, а на милосердную сестру в городе учиться надо. Не серчай, но просить-то не о чем.

Вера подтянула подпругу и вскочила на коня. Девушка стояла у стремени и, запрокинув голову, с грустью и завистью глядела на нее.

«Чем тут поможешь? Да и не вояка она, незачем Шурочке в солдатское дело ввязываться»,— с превосходством бывалого бойца подумала Вера.

— Прощай, Шура, не поминай лихом.

Воронок, медленно и грузно ступая, зашагал к площади, где строился на марш кавалерийский эскадрон.

Глава пятая

БУЯН

В январе 1919 года даже в самые лютые морозы в лесах и селах Прикамья так и не наступило затишье. Бои шли с переменным успехом, колчаковцы не раз усиливали натиск, но им все труднее давалось даже самое малое продвижение на запад, каждую версту приходилось щедро поливать солдатской кровью. А во второй половине месяца на отдельных участках фронта красные части перешли в наступление и добились немалых побед. Командующий Восточным фронтом Сергей Сергеевич Каменев 23 января доносил главкому:

«Второй день 29-я и 30-я дивизии успешно продвигаются вперед, гоня перед собой противника, который только накануне указывал в своих приказах, что перед ним разложившиеся части 3-й армии». Январские бои показали, что 3-я армия и ее 29-я Уральская стрелковая дивизия после тяжелых декабрьских испытаний — сдачи Перми, поспешного отступления — вновь способны наносить сокрушительные удары белогвардейцам.

На исходе января Воронка списали в обоз. Вера понимала, что иначе никак нельзя, последний марш жеребец вынес с трудом — сам измучился и ее измучил. Для

кавалерийского строя был непригоден, а в упряжке мог еще и послужить. Все, конечно, правильно, только уж очень горько расставаться с конем. Вера сняла с него седло, погладила бока, холку, поглядела в печальные глаза, и с рук на руки, чуть не плача, передала старшине Блохину:

— Прощай, Воронок.

— Ничего, не горюй,— утешал ее Блохин.— Другого дадим, и знаю которого. Есть на примете один меринок. Тонкая, братец, штучка. Как говорится, чалый конь всякому ко двору, а вороной — редкому. Отдал вороного, будет у тебя, Володьша, чалый. А звать его Буян.

Буян и обрадовал ее, и озадачил.

Блохин привел чалого мерина на конюшню богатого дома, и, зайдя туда, Вера увидела над дощатой перегородкой денника худощавую конскую морду, нос с горбинкой, чуткие ноздри, широко расставленные поблескивающие глаза.

Старшина вывел коня.

Яркие лучи солнца, пробиваясь сквозь щели крытого тесом двора, осветили серую шерстку конского крупа с разбегающимися по ней пежинами, мягкую шелковистую гриву, пышный и длинный, еще не обрезанный по эскадронной моде хвост, узенькую темную горбатинку вдоль хребта.

— Глянь-ка,— показал на нее Блохин,— верный знак: конь-то двужильный.

Какой же он был худой: ни жиринки, кожа да кости. Видать, отощал до края от трудов и бескормицы. Но и крайняя худоба не скрывала, даже подчеркивала его удивительную стройность и красоту: ловкий, подобранный корпус, гибкую длинную шею, точеные с черными чулочками ноги, мускулы, игравшие при каждом его движении.

Вера растерянно смотрела на коня.

— Э-э, Володьша,— заметил Блохин.— Ты не гляди, что тощой, были бы кости, мясо нарастет... Это, братец, доподлинный кавалерийский скакун. Помяни мое слово.

В тот же день она совершила на Буяне первую ездку.

Пока седлала, осторожно укладывая на острую спину потник, старое свое седло, подтягивала подпругу, сердце сжималось от жалости: как бы при такой-то худобе чего не повредить, не сделать больно. Но конь тер-

пеливо ждал, мягко поворачивался, казалось, помогал седлать. И садилась она осторожно, неуверенно: удержит ли.

Смешно, как только могла такое подумать. Буян принял ее легко. Как почувствовал, что отпустила повод, пошел мягко и плавно, все убыстряя ход. Движения его были неприметны, на рыси ноги будто плясали, а корпус плыл словно подвешенный в воздухе. Чудеса, да и только.

Никогда она не испытывала ничего подобного — ни хлюпая на спине лобвинской кобылки, ни на военных конях, что доставались ненадолго, ни на ширококостном упрямом Воронке.

Буян неприметно перешел с размашистой рыси на галоп, и она вспомнила кавалерийскую команду, которую так любил Блохин: «Скачи, лети стрелой». Воистину она летит, как стрела!

Ей было даже неловко прикоснуться к нежным бокам своими огромными, грубыми шпорами, осквернить тело коня. И когда нечаянно она все же уколола Буяна, тот вздрогнул и крутанул шеей, словно хотел метнуть на всадницу укоризненный взгляд.

И еще приметила Вера необыкновенный скок Буяна. Разогнавшись, он помчал иноходью: разом били по наезженной дороге то правые, то левые копыта.

Остановившись у штаба, она спешилась и стала искать, куда бы лучше привязать Буяна. На крыльце стоял Дробинин. Цепким взглядом окинул коня и крикнул:

— И не ищи, Холкин! Этому меринку коновязи не требуется. Брось поводья, сам подождет. Позови — придет.

И точно. Вернулась Вера из штаба — Буян терпеливо стоял на месте, изредка переступая тонкими, чуткими ногами. Вера свистнула — Буян мигом зашагал к крыльцу. Сказка: стань передо мной, как лист перед травой.

Вскоре командир эскадрона назначил кавалерийские учения и скачки.

Дробинин, Чернышев-старший, Блохин, а с ними еще пяток бойцов хлопотали на сельском выгоне. Расчистили снег, поставили барьеры — столбы с перекладинами, воткнули в сугробы обочь дороги прутья, слепили из снега чучела — для кавалерийской рубки. А один из старых конников вбил сосновый столбик, а на него осто-

рожненько положил крупную картофелину и таинственно усмехнулся, отходя: глядите, мол, что будет.

Эскадрон замер в развернутом строю.

Вера оробела. В памяти были свежи прошлые учения под станцией Балезино. Тогда верхом на Воронке она просто-таки осрамилась. Послушные воле всадников, кони Дробинина, Блохина, Чернышева и даже Витьки Чики-брики легко перемахнули через препятствия. Воронок разлетелся во весь дух, так, что из строя закричали: «Ну, бежит — земля дрожит», а перед самым барьером споткнулся, передними ногами вынес жердину, взбрыкнул и понес Веру к недалекому, припорошенному снегом стожку сена. Сколько ни пыталась она потом, при громком хохоте бойцов, взять барьер, все не получалось: жеребец упрямо останавливался перед самой перекладиной и однажды даже выбросил всадницу из седла. К счастью, занесло ее в сторону, и она головой воткнулась в высокий сугроб.

Как-то выйдет у нее с Буяном?

— Эскадро-о-он, слушай мою команду,— высоким, с хрипотцой голосом пропел Дробинин.— Справа, по три, рысью... марш!

Задробили копыта.

Вера попала в тройку подростков — слева Горбунов, на низкорослой, плотной кобылке; за ним — Витька на статном пегом мерине. Ванюша напрягся, пригнулся, очень старается, кавалерист-то без году неделя; Витька подбоченился, нос задрал, сапоги блестят, бляха на ремне сияет — говорят, ему братнин ординарец амуницию драит. Пока легкой рысцой объезжали плац, Вера заметила, что в тройке — главный Буян, идет ровно, глазом не ведет, а соседние кони держат на него равнение, учуяли, знать, что умен и учен. Раздалась новая команда. Конный строй замер на сельской дороге.

Начались скачки через препятствия. Впереди был народ многоопытный, все бывалые кавалеристы. Они легко и просто брали барьеры.

— Низко, низко! — послышались голоса.

— Можно и повыше,— ответил Дробинин. И надо же, перед самой Вериной тройкой красноармеец приподнял слегу на зарубку выше.

— Марш!

Поскакал Горбунов. У самого препятствия кобылка сбилась с ноги, прыгнула далеко, да невысоко, снесла

копытом жердину. Большая досада для Ванюши, у которого в пехоте все ладно шло. Но не тот парень, чтобы унывать, свое возьмет. Он упрямо повернул кобылу в хвост строя.

Витькин конь прыгнул сильно, но тяжело и резко, тряхнув всадника, как матерчатую куклу. С Витьки слетел весь фасон. Блохин на весь плац крикнул:

— Балован... С конем мало займается...

Настала очередь Веры.

Только опустила поводья, Буян помчал быстрым скоком, резво перебирал ногами, едва касаясь копытами дороги, словно под ним не снежный наст, а горячая земля. Вера невольно распласталась над вытянутой вперед шеей коня. Выше стелющейся гривы над прижатыми ушами Буяна она увидела перекладину и, внутренне сжавшись, приготовилась к прыжку. Но его не ощутила. Жердь мигом исчезла из глаз. Мягкая воздушная сила высоко приподняла Веру и тотчас плавно опустила.

Конь был за барьером и скакал, утишая галоп. Краем уха Вера услышала восхищенные возгласы:

— Ай да чалый... Не конь — ероплан...

— Не его учить, сам кого хошь научит.

— Сто сот стоит... Вот тебе и мощи!

Горячее тепло разлилось по всему Вериному телу, стало весело, хоть песню запевай. Ей теперь все трын-трава, ничего не страшно. Она брала и другие барьеры, дерзко напрашивалась вслед за старыми кавалеристами на самые высокие и трудные. И все сходило удачно.

Буян переносил ее как пушинку. Уверовав в коня, уверовала и в себя. Даже рубку лозы, которой пуще всего боялась — шашкой владела слабо,— встретила с радостью «Что там, давай рубку!»

Всадники один за другим проносились по прибитому копытами плацу и, привстав на стременах, острыми шашками скашивали тонкие торчащие из сугробов лозины. Иные так ловко срезали их, что прутья, падая, отвесно втыкались в снег. Потом наотмашь рубили припорошенные снежные чучела, расхватывая от плеча до плеча.

Еще при Воронке Вера скакала на рубку. Как ни тянулась, гибкая лозина уходила из-под шашки, скользил по ней клинок и, падая, мелькал у самой головы Воронка. «Ну, кавалерист,— кричали тогда бойцы,— коню уши отхватишь!»

С Буяном дело пошло куда лучше. Конь так близко подносил ее к пруту или чучелу, что Вера успевала поразить их клинком. Лозины порубила почти все. А вот со снежным чучелом не получилось. Был замах крутой, а удар хилый — что ни говори, плечо-то девичье, узкое, а шашка — тяжела. Клинок врубился в снежного «солдата» и застрял, едва успела выхватить, а то бы стащил с коня.

Что не пошло, то не пошло. Но радостное настроение и боевой азарт не оставили Веру. Горящими глазами следила она, как состязаются кавалеристы. Тот, что положил на столбик картофелину, показал мастерский номер. Разлетевшись, на полном скаку он резанул по картошке, да так неприметно и ловко, что она и не стронулась с места.

Задержав коня, он торжествующе крикнул:

— Гляди, располовинил!

Подскакали — и верно. Картошина пополам перерублена. Где уж с таким-то ловкачом тягаться. Другой боец (говорили, царской еще службы драгун) положил на самой дороге двугривенный и на скаку, свесившись с коня до самой земли, подхватил его и всем показал: вот он.

Пытались и другие повторить его фокус, да не вышло. Решили сделать попроще: бросили на дорогу портянку и стали ее хватать на скаку. Кое-кому удалось. Разгорелась и Вера. Послала Буяна рысцой, добежал он до портянки, и всадница отважно пала вниз головой... И тряпки не достала, и подняться не могла, так и волочилась руками по снегу. Спасибо, Буян встал, а бойцы посадили в седло.

— Ну, Володьша, ну, циркач!

— Эх, каскадёр, коли вправо гнешься, левое-то стремя подвязывать надо. Не зная броду, не суйся в воду.

И сколько было бы еще хохоту и насмешек, коли бы не команда:

— Эскадрон, в колонну... становись!

Выстроились, пошли маршем.

— Эскадрон, песню!

Затянул правофланговый — запевала. За ним Ванюша Горбунов, голос — хоть на клиросе пой, и тотчас дьяконским басом замыкающий старшина Блохин, «собиратель подков»:

Из-за леса, из-за гор
Вышла ротушка солдат.
Эй да, эй да,
Вышла ротушка солдат.

Кони шли широким шагом, поматывая головами, потряхивая коротко подрезанными гривами.

Перед ротой командир,
Эй да, хорошо марширoвал.
Хорошо маршировал,
С Машей здравствовался.

И весь эскадрон рванул звонко и озорно:

Здравствуй, Маша,
Здравствуй, Даша,
Здравствуй, любушка моя.

Седоусый фуражир скупо отмеривал овес и сено. К нему тянулся длинный хвост бойцов, с торбами и веревочными вязками в руках. Встала в черед и Вера. Радостное возбуждение, владевшее ею на плацу, быстро улетучилось. Отводя Буяна на конюшню, она сразу заметила, как тот сник, сдал, и поняла: ох и нелегко далась ему скачка. Мерин хрипло дышал ей в плечо, мелко дрожал всем своим сухопарым корпусом, влажная от испарины шерстка тотчас взялась морозом. Шагал, едва переставляя ноги. На плацу конь отдал все что мог.

— Притомился, Буянка, слабый совсем, в чем только душа держится, а я-то тебя гоняла да еще радовалась.

Накрыв мерина попоной, она направилась за кормом. Очередь двигалась нестерпимо медленно. Фуражир не спешил, переговаривался с бойцами, шутил. Никто его не торопил, не упрекал — он был лицом значительным, почти таким же, как и старшина Блохин. От фуражира многое зависело: какой же кавалерист при голодном-то коне — ни на марш, ни в бой.

Когда Вера подошла к фуражиру, тот угрюмо развел руками:

— Нету овса, весь вышел.

— Как так?

— А вот так, бери сена, говори спасибо.

— Евсеич,— клянчила Вера.— Да ведь я Буяну. Видели, чай, как он старался, худ, слаб, поправить нужно.

— Дак я что, против? На нет — суда нет.

— Христом-богом прошу...

Фуражир молчал.

— А я к комэску пойду, а то и комиссару,— вспыхнула Вера.

— Не пужай, не из пужливых,— осерчал фуражир.

— Будь добрый!

Бойцы, стоявшие во дворе, зашумели. Они сочувствовали Холкину:

— Не жмись, Евсеич, дай овсеца Володьше. Коня жалко — больно хорош.

— По сусекам помети — найдешь.

— Дак я, братцы, такому скакуну, что ли, враг? Сей момент пошарю,— сдался фуражир.

Он сгреб все, что осталось на дне фуры, ссыпал в Верину торбу:

— Накось, держи поскребыши... Вот и сена немножко...

Закладывая щеколду на калитке, Вера услышала, как Евсеич сказал бойцам:

— Да, истинно жаль мерина. Конь высочайшей кавалерийской выучки, все науки превзошел. Только песенка его, как говорится, спетая... Выбитый он, так оголодал, что дальше некуда... А на наших-то харчах не поправишь, каюк ему, долго не протянет, не жилец...

Вера шла и бежала, не помня себя, глотая горькие слезы. Как же это так? Только помирилась с утратой Воронка, стала привыкать к Буянке, к такому-то коню мигом попривыкнешь: друг добрый, умный, ученый. И на-ко вот, беда: вскорости и его потеряет. Не надо ей теперь и голубихинского сахарного скакуна, никакой этой чудесной сказки не надобно, был бы жив и здоров ее чалый...

— Буянка, Буянка! — позвала она от ворот.

Мерин ответил ей тихим ржанием.

— На-ко овсеца, честное слово, больше не добыла.

Конь, как показалось, глянул на нее с сожалением и, уткнувшись в торбу, негромко захрумкал сорным, подметенным со дня фуры овсом.

В избе было натоплено: Горбунов расстарался, ждал ее. Подростки поели за весь минувший день похлебку и хлеб, устроились на лежанке и стали держать совет.

— Что делать, Вань, а? Досыта не накормишь — взять негде, что придумать?

— Я могу, уделить... немножко. Моя пегая поздоровше, да и попроще, хоть солому с крыши подъест.

— Что с тебя взять: крохи. Ему настоящий корм нужен да и вволю...

— Эй, Володьша,— окрикнул с лавки Витька, который, конечно, подслушивал.— Ты это, вот что, будь побойчее.

— Как?

— Так. Ты меня сметанником ругал? Ругал. Ну вот сам им и стань. В деревню заскочил — сливки сними.

— Значит, обирать? — спросил Горбунов.

— Называй как хочешь, а только выход один: иначе скакун копыта откинет.

— Знаешь, что за мародерство? К стенке!

— Ну-ну, не пойман — не вор.

Неожиданно Иван рассмеялся.

— Ты что? — испугалась Вера.

— Да вспомнил, как еще в пехоте ты, Володьша, без подверток остался. Порвались вконец. А на дворе — мокрый снег да грязь. Как быть? У хозяев барахлишко было, да жмоты оказались, не выпросишь. Тебе ребята говорят: «Володьша, не робей, бери, коли плохо лежит». А ты одно: «Ни в жисть» ...Спасибо, старшина где-то добыл... Нет, сметанник из тебя не выйдет.

Лежа с открытыми глазами, глядя в закопченный потолок, Вера все прикидывала, как ей выходить Буяна. Перебирала в уме всех, кто может ей помочь: Дробинина, Чернышева-старшего, Блохина... Нет, не до того им, у них целый эскадрон на руках, да с кормами труднее трудного.

Долго она ломала голову, пока не пришла ей простая и ясная мысль, как только сразу не догадалась: тятя. Кто, как не он, может и присоветовать, и помочь! Он все ее заботы примет близко к сердцу. К тому же отец — лошадник знатный. В молодости, еще на Исовских приисках, был конюхом, одно время даже щегелем служил — кружку с добытой за день платиной верхом в контору отвозил. Да и на лесопилке не встречалось ему равных в знании коней, что обиходить, что поправить — к нему шли.

Тятя, конечно, и спасет Буянку!

Отца хотелось повидать и просто так — очень соскучилась, и про мать с Сережкой спросить — не узнал ли чего, а еще потому, что был у Веры к нему один важ-

нейший вопрос. Возник он совсем недавно, незадолго до скачек. На конюшне, когда чистила своего Буяна, вышел у нее крупный спор с Витькой Чернышевым.

Витька к своему статному мерину заглядывал редко, ухаживал за конем и даже корм задавал чаще всего ординарец Чернышева-старшего — тщедушный боец. Витька же любил поспать да погулять.

— Эй ты,— растолкала его ранним утром Вера.— Хватит дрыхнуть, на конюшню айда, мерин-то твой заждался.

— Ничего, подождет, терпеливый.

Вмешался Ванюша Горбунов. Витьку устыдил, и он, даже не умывшись — вода холодна, приплелся на конюшню, а там, усевшись на яслях, принялся чесать языком. Пока он хвастался братом, говорил, что тот скоро еще выше пойдет и будет якобы назначен то ли на полк, то ли даже в штаб дивизии, подростки работали молча. Бог с ним, пусть себе брешет. Язык без костей. Но когда Витька затронул в разговоре ее отца, Павла Даниловича, Вера не выдержала. По-Витькиному выходило, что брат его — помкомэска — человек очень головастый и приметный, оттого ему и все пути открыты, а вот Володьшин вотчим — Кузницын, даром что партийный, вовсе не ходовой, способный только быть простым бойцом, ездовым при лошадях. Дальше ему дорога закрыта.

— Плохого не скажу,— разглагольствовал Витька.— Кузницын-то твой всем взял. Слышал, пулеметчики его нахваливают — и смел, и грамотный, батей его зовут, а вот поди же ты, все своим буланым хвосты крутит!

— Заткнись, помело, тятю не замай,— рассвирепела Вера.— Что ты, нечесаная башка, можешь в этом понимать? Да отец у нас в Лобве с большевиками-подпольщиками дело имел, он, хочешь знать, самую революцию делал! А как он с конем да пулеметом из окружения выходил, сколько мук принял!.. Он тебе любую газету прочтет и все, что напечатано, насквозь прояснит... Да он...

Ванюша горячо ее поддержал, и Чики-брики умолк, так и не принявшись чистить коня. Отбрить отбрила, а все же в мозгу, как заноза, засел вопрос: отчего же все-таки отец, который в большевики записался еще в 1917 году и был, по ее твердому убеждению, настоящим коммунистом, нисколько не продвинулся: как был так и остался ездовым?

Вера поднялась чуть свет и отпросилась у Дробинина повидать отца. Узнав село, где квартировала пулеметная команда, она оседлала Буяна и отправилась в путь.

Глава шестая

ПЕРВЫЙ ПАР

Павел Данилович не встречался с дочерью с самого крещения. Как перевели ее в кавалерийский эскадрон, так и не видал. За это время он не раз побывал в боях. Колчаковцы нередко теснили красные части, и пулеметную команду бросали на опасные участки, в пекло. Тревожился Кузницын за дочку: день и ночь мотается по дорогам близ фронта, да еще со штабными бумагами. Дело рисковое. Беляки за вестовыми охотятся. Неровен час, подстрелят!

И был он несказанно рад, когда мглистым морозным утром перед ним появился маленький худенький кавалерист в шинели до пят, широких сапогах с грохочущими шпорами.

— Здорово, тятя! — выкрикнула Вера простуженным голосом и прижалась к отцовскому ветхому полушубку. От нее пахло ярым морозом, конским потом и ружейным маслом.— Вот и я!

— Здравствуй, Володьша.— Отец трижды чмокнул ее в обветренные щеки, покалывая усами и бородой, аккуратно подстриженными и расчесанными. Был он крепколицый, бодрый, не то что в декабре после таежных скитаний. И голос веселый, как в Лобве: — Живой Володьша, здоровый, ну, молодец!

Он не оговорился, не назвал Верой: во дворе, у пулеметных саней, были еще люди. И поначалу разговор вышел так себе, немудрящий.

— Служба-то как идет?

— Да все хорошо, ладно...

— Не голодуешь?

— Нет, хватает, в кавалерии приварок добрый.

— Начальство не забижает?

— Что ты. Ни в коем разе... Уважительное. Даже коня нового дали.

— Да ну?

— Пойдем, тятя, поглядишь.— Вере не терпелось побыстрее увести отца с людских глаз, на улицу.

За воротами ждал Буян. Был он даже не привязан, поводья брошены на луку: стой, пока хозяин не вернется. Это сразу приметил Павел Данилович, живо и придирчиво оглядевший сухопарого чалого мерина.

— Хорош,— похвалил он,— благородных кровей. Только больно худ, в чем душа держится...

— Ох, тятя, сама знаю. Да что поделаешь, таким достался. Чем его поправить, как раскормить?

Кузницын-старший достал кисет, не спеша свернул цигарку. Ему ли не понять: вся надежда на коня.

— Совсем плох Буянка-то,— шептала Вера, всерьез опасаясь, что конь услышит и поймет.— Намедни фуражир говорил, будто и не жилец он вовсе...

— А ты не очень-то верь, мало ли что брешут,— покачал головой Кузницын.— Все в нашей власти.

Больше про Буяна отец не поминал. И Вера до поры до времени тоже не заговаривала. Знала, что сказанного довольно, отец не забудет, думает и что-нибудь, глядишь, непременно придумает.

А Кузницын размышлял о том, чем бы порадовать дорогую гостью. Что он может? Вкусно не накормишь — кроме ячневой каши да куска хлеба, ничего в запасе нет. Мягко спать не уложишь — известно, какова солдатская постель: шинелку расстели да ею же и укройся. А надо бы что получше, чтобы тятин прием Вера надолго запомнила.

И он придумал.

— Слушай, Верунька,— обнял он дочь.— Угощу-ка я тебя доброй банькой...

— Ой, батяня!

— Такой, чтобы нашу Лобву вспомянула.

— Ох и хорошо же, а то я все в уголку да с оглядкой... Только мне-то со всеми... никак... Сам понимаешь...

— Э-э, не твоя забота. Я по этой части — наиглавнейший начальник, на всю команду баньку творю, так что уж первый-то пар — мой!

Пока знакомые пулеметчики — Рыков и Мыльников — потчевали Веру кашей и крутым кипятком, заваренным малиновым листом, а Буяна — овсом, пока расспрашивали о житье-бытье, отец успел истопить баню.

В теплом тесном предбаннике мигом сброшена солдатская одежка — шинель, сапоги, подвертки. Там же

остались и все мысли и заботы солдатские. Вера с давно не испытанной радостью юркнула в мыльню и притворила дверь.

За потемневшими, пропитанными влагой стенами, за незрячим оконцем лютовала февральская метель. Стонали и покряхтывали под студеным ветром ели и сосны. Громоздились сугробы. В снежной круговерти шагали бойцы, скакали кони, ухали снаряды и свистели пули.

Здесь же, на узеньком, прогретом полке, у живой, источающей жар каменки был совсем иной мир, уютный, домашний. Отец плеснул из ведерка воду на раскаленные камни, и молочный пар с громким шорохом взлетел к потолку, заполнил все пространство мыльни. Сладко запахло где-то добытым березовым веником, родимой лобвинской рощей.

Ласкала и нежила мягкая вода из сосновой кадушки, отдававшей смолкой. Свободно, открыто задышала грудь. Эх, грейся, радуйся тело, расправляйтесь косточки, выходи постылый надоеда-мороз!

Одна-единственная мысль в голове: как хорошо.

Знал тятя, чем угостить, потешить. Он даже чистое нательное белье принес. И когда Вера, распаренная и разнеженная, нырнула в широченные, с отцовского плеча рубаху и портки, он спросил, прищурясь:

— Ну, дочка, каково?

— Как в раю, лучше не бывает.

— Эх,— горестно вздохнул Павел Данилович,— матери с нами нету, уж она бы тебя намыла, напарила, особливо бы пяточки потерла: любила ты, махонькая...

— Тятя,— она все носила этот вопрос, но откладывала его, боялась: — Тятя, ты про мамку не слышал чего?..

И замерла, с трепетом ожидая ответа.

— Прямо не слышал,— поспешил отец,— разве — стороной... И вот, дочка, полагаю, что наши-то живы. Почему, спросишь? А потому, что бойцы, как в Нытву ворвались, не видали эшелонов — ни лобвинского, ни лялинского... Стало быть, раньше успели отправить.

— А если белые с собой угнали?

— Нет, не успели, в кольцо их взяли, колчаков-то. Так что не печалься: мать с Серенькой в безопасном месте. Придет время — найдем...

Пока Павел Данилович нахлестывал себя березо-

вым веником, фыркал, вскрикивая и постанывая от наслаждения, Вера дожидалась в предбаннике. Обнадеженная отцом, она думала только о хорошем.

Ей представился лобвинский дом в субботний, банный день. В избушке-баньке, что на задах, в заросшем картофельной ботвой огороде, парится тятя и так же, как сейчас, весело вскрикивает. Мамка в поблескивающем на солнце медном тазу несет пахнущее речной свежестью белье. Сережка, отмытый до неузнаваемости, светлый, как ангелок, чинно сидит на порожках.

То был сон наяву, удивительный и чудный. Вокруг туманно мелькали люди, которых прежде в Лобве и не встречала: собрались туда ее новые, военные знакомцы. Старшина Блохин, почему-то в черном пиджаке и штиблетах, держал под уздцы сразу двух коней: непутевого Воронка и статного, на удивление гладкого Буяна. Комэск Дробинин в синей косоворотке, затянутый в рюмочку кавказским, с бляшками, пояском, сидел за столом и читал толстую книжку. А Ванюша Горбунов с цветочком в петлице, в лаковых сапожках и высоком картузе играл на гармошке и все поглядывал на Веру синими-синими глазами. Да и как было на нее не смотреть. Сама Вера видела себя несказанно красивой, в шерстяном темном платье с беленьким передничком, какой носили гимназистки, с пышной русой косой, получше, чем у Шурочки, до самых подколенок. И была у нее в руке новенькая сумка с книжками и тетрадками: она собиралась на поезд в Верхотурье, в гимназию, и очень спешила. Ждала только, чтобы ее проводил хотя бы до станции Ванюша Горбунов...

Вера вернулась к действительности, когда отец уже кончал одеваться. Он был в вылинявших гимнастерке и брюках и с трудом натягивал на распаренные ноги старые стоптанные сапоги... И Вера как бы снова оказалась в тесном предбаннике, у сваленного кучей своего солдатского скарба: шинели, винтовки, шашки... Она встала с лавки, и тотчас громыхнули ее железные шпоры. Возвратилась война, служба, и в голову тотчас полезли беспокойные мысли: не продрог ли Буян, хорошо ли накормлен; не опоздать бы к ночи в эскадрон, а то старшина строго взыщет; и куда прикажут скакать поутру — то ли с пакетом, то ли сопровождать обоз... На мгновение в мыслях возник Витька Чернышев, в роскошной форме, с неумытой, заспанной рожей, и вспом-

нились его обидные слова про тятю, который только то и делает, что крутит хвосты своим буланым... Наплевала она на Витьку и его болтовню: собака лает — ветер носит, если бы и ее саму втайне не мучил тот же вопрос. Прямо спросить не смела, чтобы ненароком не обидеть отца, думала, как бы завести речь обиняком. Но и это не удалось: в дверь застучали, и бойкий голос пулеметчика Рыкова спросил:

— Эй, Данилыч! Не запарился вконец?

— Живой,— усмехнулся отец.

— Когда так, собирайся. В штаб кличут.

— Это зачем?

— Со вчера не видели, соскучились.

Не спеша надевая полушубок, отец давал наставления Рыкову: позаботиться о Володьше, чтобы отдохнул, и непременно накормить.

— Помилуй, уже потчевали.

— Ничего, солдату впрок не помешает... Я скоро вернусь,— сказал Вере.— Часу не пройдет.

Но прошел час и другой, а отца все не было. В жарко натопленной избе пулеметчики как могли ублажали Володьшу. Кроме ячневой каши снесли на стол все, что добыли: вяленую воблу, желтоватый шматок лежалого сала, кусочки серого сахару и даже вареное яичко. За столом не умолкал разговор. Рыков, Мыльников, знавшие отца еще в Лобве, и незнакомые бойцы рассказывали разные случаи из минувших январских боев на берегах Камы и у чугунки. Речь все больше вели о Павле Даниловиче.

Вера узнала, что однажды, когда пулеметный расчет стоял в засаде, укрытый на опушке леса, Кузницын заметил двух колчаковцев, подползавших меж деревьями с тылу, и меткими выстрелами уложил их. В другой раз, во время нашей контратаки, он на полном скаку прогнал буланых через занятый врагом хутор, и пулеметчики на ходу поливали огнем беляков. Очень хвалили бойцы резвость его коней, ловкость и отвагу ездового.

— Так, брат, проскачет и с лету развернет сани, что лучше для «максима» позиции и не придумаешь, он в этом деле большой мастак.

Была рассказана и история, когда Павел Данилович принял под начало всю пулеметную команду. Случилось это у железнодорожной станции при внезапном проры-

ве колчаковцев. В ту пору начальника команды вызвали в штаб дивизии — то ли с отчетом, то ли получать задание. Пулеметчики же, полагая, что до фронта далеко, разместились по избам и выставили сторожевое охранение. В нем находился и Кузницын. Был он часовым...

— У Данилыча глаз вострый,— рассказывал Рыков.— Хотя и пуржило страсть, он первым заметил казачий разъезд. Однако не растерялся, жахнул из винта и подчаскам своим велел стрелять. Поднял тревогу, собрал командиров расчетов и тут же приказ отдал: кого — куда. Так все устроил, что станцию кругом прикрыли. Куда казаки ни сунутся, везде наш пулемет дает им по сопатке. Таким огнем ливанули, что казара еле ноги унесла... Начальник вернулся, узнал про все и очень был доволен, что все ладно обошлось, а Данилычу прилюдно руку пожал... Вот у тебя, братец, тятя какой!

— Так, значит, он может и всеми вами командовать? — спросила Вера, вспомнив досадные слова Чикибрики.— Ну, скажите, может?

— А как же, вполне,— ответил рассудительный Мыльников.

— Так почему он все в ездовых ходит? — допрашивала Вера.— Отчего ему должности не дадут? На взвод, а то и на роту бы назначили.

— А пошто? — удивился маленький, быстроглазый пулеметчик.— Он же на своем месте... Да мы его и не отдадим, самим нужон...

— Э, Володьша,— укоризненно покачал головой Мыльников.— По твоему разумению, только тот набольший, у кого чин есть, так?

— Ну...

— Вот те и ну, если хочешь знать, что Данилыч наш, хотя чин-званье невелики, огромадного смысла человек. Ты раскинь мозгами, зачем его в штаб позвали? Совет держать. Его очень даже уважают. И многие вопросы с командованием решает. Не только про стратегию всякую, но и про житье-бытье. У нас он нарасхват. Одно слово, партийный!

Потом пили чай, и речи пошли больше шутливые, вспоминались разные занятные истории.

Вера с нетерпением ожидала отца. Дважды выбегала на крыльцо: не едет ли, заглядывала в конюшню, куда проводили щедро накормленного Буяна. В третий

раз она, к изумлению, застала у денника отца: он внимательно разглядывал ее коня.

— Тять, заждалась, больно ты долго.

— Ничего не попишешь, дела.

— Куда вызывали-то?

— Комиссар приглашал.— И, прекращая дальнейшие расспросы, отец заговорил о Буяне.— Еще раз скажу, меринок у тебя первостатейный. Выходить его надо. Правда твоя, корм хороший требуется. Овес добрый.

— Воровать, что ли?

— Ну-ну! С детства не приучена чужое брать. И не учись, дурная наука.

— А как?

— Погоди, пойдем в избу, скажу.

В зале на полу были сложены солдатские мешки и котомки. Отец поднял свой, развязал и достал из него немалого размера тряпичный узелок.

— Так вот, Володьша,— промолвил отец.— Горюшко твое — не горе. Мало ли что фуражир говорил. Нет, не конец коню. Ты вообще плохому поменьше верь. Уж, кажись, в каких только положениях мы не бывали: и Дутов на нас шел, и чехи перли, и колчаки из Перми шуганули, а все стоим, а теперь и ихнюю силу бьем. Глядишь, и вскорости наступать будем, да так, что единым духом весь Урал от белой сволочи очистим. Пятки у них засверкают. Мы люди рабочие, на нас земля держится. Не нам и Лазаря петь. Так-то. И твоего скакуна поправим. Ты да я, да мы с тобой.

Он распеленал узелок, и Вера увидела толстую пачку денег.

— Тут всякие,— усмехнулся отец,— и царские, и керенские, даже колчаковские имеются. Я, ты знаешь, мужик прижимистый, на имение коплю... Шучу, конечно, гадал мать с Серенькой поддержать. Ну это дело дальнее, погодить придется... А ты бери. В селах, особливо подальше от большака, фураж купить можно. Не жалей бумажек. Корми своего Буянку овсом, он быстро и в силу войдет.

Завечерело, когда, простившись с отцом, Вера на щедро накормленном коне, сама отдохнувшая телом и душой, весело поскакала в свой кавалерийский эскадрон.

Глава седьмая

МЕРА ОВСА

Прежде она неохотно конвоировала обозы. Считала такие задания скучными и малопочетными, небоевыми, хотя это было и неправдой: на обозников, случалось, нападали вражеские разъезды, бандиты, дезертиры, и приходилось вступать не только в перестрелку, но и в настоящую сечу. Однако тягостно было целыми сутками трюхать рядышком с доверху груженными розвальнями, дожидаясь хоть какой-нибудь деревеньки, где можно обогреться и чем бог пошлет набить тоскующее от голода брюхо.

Теперь же она сама вызывалась сопровождать обозы. И делала это ради Буяна.

Пока медлительно тянулись подводы, она, испросив разрешение у старшего конвоя, а то и на свой страх и риск, скакала в села и деревни, стоящие в стороне от тракта, и, яростно торгуясь, покупала фураж. Тятя был прав, тут нередко удавалось разжиться мерой-другой овса. Керенки и даже царские были еще в ходу. Всякий день Буян исправно харчился, уткнувшись мордой в брезентовую торбу и, подчистив ее, благодарно поглядывал на хозяина.

Вылазки за фуражом были небезопасны. Однажды на глухом лесном зимнике она заметила трех вооруженных всадников в высоких папахах. Они стояли на обочине, в тени сосен, и выжидали. Почувствовав неладное, Вера круто развернула коня и тотчас услышала, как возник за спиной гулкий топот. Грянул выстрел, и над ней просвистела пуля. Она пришпорила Буяна, и тот, ни секунды не задержавшись на дороге, нырнул прямо в лес. Она пыталась направлять его меж высоких стволов, но тут же отказалась от этого намерения, конь сам крутился чертом между деревьями. Прыгая через сугробы высокими короткими скачками, он уносил ее в самую чащу. Прошло несколько минут, и топот остался далеко в стороне. Вера дала волю коню, и тот, недолго поплутав, выбежал на большак и догнал обоз.

В другой раз верстах в десяти от тракта, на околице лесного хутора, ее встретили выстрелы. Едва успела сорвать винтовку с плеча, как Буян опустился на колени, дал ей соскочить на снег и улегся плашмя, загоро-

див собой всадника. Из-за его крупа, как из-за бруствера окопа, она цепко оглядела ближний хуторский дом и, найдя поднявшиеся над оградой головы и ружейные стволы, открыла ответный огонь. Отстрелявшись, вдела ногу в стремя. И в тот же миг Буян рывком поднял ее и понес, как и в прошлый раз, ныряя между стволами.

Много знал и умел этот вышколенный боевой кавалерийский конь!

Вера берегла деньги, полученные от отца. В дальних селах и хуторах, где покупала корм для своего любимца, частенько возникал соблазн потратить хоть малую толику на себя. Заглядывая в избы, она видела на печных шестках и загнетках чугуны с похлебкой, кашей и картошкой, ее дразнил запах свежеиспеченного хлеба и редкостный дух вареного мяса. Но нет,— положила себе Вера,— ни полушки не отдаст за самый мягкий и душистый каравай, пока не поправит Буяна.

Как-то она открыла дверь в избу и застала хозяйку, худенькую, маленькую женщину, у истопленной печи, когда та вынимала готовые хлебы. Красноватый свет угольев падал на бледное лицо женщины, на темные, засученные по локоть руки, и Вере на мгновение показалось, что перед нею мать, Прасковья Дмитриевна, в родимом лобвинском доме. Но видение тут же исчезло, когда хозяйка, улыбаясь вымученной улыбкой, толкнула каравай с приставшим к нему порыжевшим капустным листом обратно в печь и прикрыла заслонкой.

— Бог в помощь,— сглотнув слюни, сказала Вера.

— Здравствуйте,— ответила женщина.— Что тебе надобно, солдатик?

— Да я кое-что спросить,— бодреньким голосом обратилась Вера.— Конька бы накормить... Заплачу, заплачу,— успокоила она встрепенувшуюся женщину.— Уж продайте меру овса...

— Продать-то, конечно, можно... Только у нас самих кот наплакал, последнее Серке скармливаем...

— Я за ценой не постою,— проговорила Вера привычную фразу, а сама подумала: «Хлебца бы купить, ведь сейчас не откажет».

— Ладно,— согласилась хозяйка, поспешно накидывая тулуп и направляясь к двери.— Пойдем...

В чуланчике она торопливо отмерила овес и тщательно пересчитала деньги. Не завязывая разговора, ушла в дом. Потчуя Буяна, Вера утешала себя надеждами на

будущее. В конце концов через час догонит обоз и там, глядишь, перехватит у красноармейцев сухарик, а то дождется постоя, где непременно сварят — вчера было обещано — гороховую похлебку.

Внезапно скрипнула дверь, и на пороге появилась хозяйка.

— Вот, солдатик, возьми,— она протянула ломоть мягкого и теплого ржаного хлеба.— Кушай на здоровье.

Одно радовало Веру — Буян день ото дня наливался силой, крепло тело, становилось справным, гладким, даже серая шерстка на крупе сделалась мягкой, шелковистой. Дышал глубоко и свободно, скакал весело. Диву давалась, как быстро хорошел ее ученый меринок. Это замечали и кавалеристы, и красноармейцы-обозники. Старший конвоя, большеголовый, седобородый боец с хитрыми чалдонскими глазами, даже сказал:

— Эге, Володьша! Твой-то чалый такой, брат, баской стал, что на-поди... И для ча ты его правишь? Гляди, отберут...

Вера тогда не придала его словам особого значения и вскоре забыла про них. Вспомнить же предсказание седобородого привелось много позже, солнечным майским днем. А пока бушевал февраль, переметал дороги, гудел ветрами, крутил вьюгами. Месяц уже был на исходе, принося все новые и новые поездки, долгие дни в седле, сторожкие, бессонные ночи в караулах, короткие стычки, ночлеги в неизвестных деревнях.

В последних числах февраля нежданно-негаданно все переменилось. Пришлось на целых десять дней сойти с седла, снять военную форму и видавший виды треух, сдать старшине оружие, даже «бульдожку».

А все началось с того, что в эскадроне появился долговязый красноармеец. Был совсем молоденький, угловатый, чуть сутулился. Под бурой ушанкой было бледное мальчишеское лицо, с коротким носом, рыжеватыми бровями, милое, даже красивое, но неприметное. Вроде бы где-то встречала такое, а может быть, и нет.

Парень о чем-то расспросил кавалеристов, чистивших коней, и прямиком направился к Вере. Подойдя почти вплотную, принялся внимательно ее рассматривать. От пристального, знающего взгляда круглых серых глаз Вера смутилась и забеспокоилась: вдруг все ему известно и сейчас назовет ее настоящее имя. Не выдержав, крикнула:

— Чего уставился, проходи!

— Холкин? — хриплым голосом спросил парень.

— Ну, Холкин, что из того?

— Привет от Шабунина и Тырышкина. Знаешь таких?

— Знаю. А ты из 3-го Екатеринбургского?

— Допустим. Подожди, скоро вернусь,— и красноармеец какой-то развинченной, штатской походкой зашагал к избе, где располагался командир эскадрона. Вера недоуменно пожала плечами в ответ на вопросительные взгляды бойцов.

— Знакомый, что ли?

— Да вроде нет...

Через полчаса парень вышел из избы вместе с Дробининым. Командир эскадрона негромко приказал:

— Красноармеец Холкин...

— Слушаюсь.

— Сдайте коня...

— Это зачем, товарищ командир эскадрона?

— Разговоры? Выполняйте приказание.

— Есть.

— Кому желаете оставить своего Буяна?

— Красноармейцу Горбунову.

— Согласен. Пойдете с этим товарищем,— комэск указал на долговязого,— в штаб полка. Обратитесь к комиссару Абрамову. Получите задание. Ясно?

— Так точно,— Вера немного успокоилась: Абрамова она хорошо знала, с месяц назад был переведен из Екатеринбургского полка.

Ничего толком понять было нельзя и догадаться трудно. По дороге в штаб Вера с любопытством присматривалась к незнакомцу. Поношенная, истончившаяся шинель, высокие, крепкие, видать трофейные, сапоги, худощавое безразличное лицо и какой-то совсем не военный желтый шарф, плотно закутавший длинную шею. Несколько раз приставала с расспросами. Парень угрюмо отмалчивался, а когда надоела, прохрипел:

— Придешь — узнаешь.

Через сутки вьюжной ночью они отправились в дальний путь: Александр Желтышев — так звали молоденького красноармейца с закутанным горлом, Вера и два проводника, местные мужики. Шли в полной темноте по едва приметным тропинкам, нигде не задер-

живаясь, не пересекая ни тракта, ни проселков. Диву дашься, как только находили дорогу. Под утро ненадолго остановились в охотничьей избушке: Желтышев и Вера отдыхали, а проводники поочередно несли караул.

Когда засветили огарок свечи, Вера еще раз оглядела себя и своего спутника.

Вот бы изумились ребята из кавэскадрона, увидев бойца Холкина в девичьей одежде. Если в разведке под Верхотурьем она была крестьянской девчонкой, то теперь настоящей барышней, все на ней хоть изрядно поношенное, но городское: синее шерстяное платье, длинное, в талию; коричневое суконное пальтецо с меховым воротником; на голове — шляпка пирожком, а поверх нее повязана кашемировая шаль. На ногах вместо тяжелых сапог с грохочущими шпорами — высоконькие ботиночки со шнуровкой и теплые галоши. Каково в них пробираться по лесным тропинкам!

— Валюха, спать!— прохрипел Желтышев.—Завтра будет не до сна.

Да, теперь она Валентина, так записано в справке с печатью, выданной волостным управлением. А точнее: Валентина Никифоровна Желтышева, шестнадцати лет. Из мещан Екатеринбургского уезда. Училась в гимназии. Сирота. Саша Желтышев — ее родной брат. Тоже гимназист. Занимаются торговлей вразнос. Вон он и разносный ящик, в длину аршин с четвертью, в ширину пол-аршина. Откроешь крышку, а там — полным-полно красного товару. В гнездышках разложены нитки, пуговицы, иголки, кружева, ленты — голубые, красные, зеленые, бусы, колечки, перстеньки, особо уложены нательные крестики, серебряные на шелковых гайтанах. А изнутри на крышке налеплены картинки от папирос «Зефир», «Пальмира», «Кузьма Крючков» и открытки — девицы-красавицы да кавалеры, голубки целуются, сердце, пронзенное стрелой. Хороший ящичек: хочешь — через плечо носи, на ремне, хочешь — кати, полозья приделаны.

Следовало бы в дороге думать про этот галантерейный товар, про цены, которые Желтышев велел зазубрить, про то, чтобы с нового имени не сбиться, а в голову лезет эскадрон да Буянка. Хотя за него можно быть спокойной, передала в надежные руки, Ванюше, ему же отцовы и свои деньги оставила: не жалей, корми и корми коня.

— Валюха, спать!

Приказывает, надо выполнять. Она теперь в полном подчинении у Желтышева. Комиссар строго наказал: что скажет, то и делать, куда направит, туда и идти, без спросу не отлучаться, терпеливо ждать. Торгуют — ей и товар нахваливать, а Александр пусть больше молчит: у него голос оттого хриплый, что в горло раненный. «Ты теперь,— смеялся комиссар,— его тень и верный слуга Личарда!»

Спать так спать.

Утром один из мужиков сказал:

— А ведь мы, девонька, у колчаков-то в тылу.

— Стало быть, фронт перешли? И не заметили.

— Именно. В сих местах ихняя нога не ступала. Даст бог, ноне ночью выйдем к чугунке, за Шабуничами.

Все такими же потаенными лесными тропами проводники вывели разведчиков на железнодорожный разъезд, с рук на руки передали знакомому стрелочнику, который посадил «брата и сестру» в переполненный товарняк, следующий в Пермь. Появление в теплушке железнодорожника, лица в ту пору влиятельного, сильно помогло. Пассажиры — солдаты, крестьяне, рабочие — молчаливо потеснились, уступили местечко у печурки. Поезд тронулся. Вера то и дело поворачивалась: один бок припекало, другой — леденел: из щелястой двери несло холодом.

— Валентина, не вертись! — строго окрикнул «братец».

— Не твое дело,— огрызнулась «сестрица».

Все шло ладом. Патруль перед Пермью ни к чему не придрался. Усатый фельдфебель и коротышка-солдат, проверявшие документы, ничего подозрительного не обнаружили. Окинув колючим взглядом сизую шинельку Желтышева и фуражечку с поломанным козырьком, фельдфебель спросил:

— Гимназер?

— Был, господин унтер,— бойко ответила Вера.— Какая же теперь гимназия! Торговлишкой занимаемся. Не хотите ли взглянуть? Крестики имеются нательные, очень хороши...

— Ладно, ладно,— буркнул патрульный, отходя.

Когда медленно проезжали по мосту через Каму, пассажиры откатили дверь. Проплывали под грохот колес тяжелые стальные переплеты, а за ними на сизом,

разметанном ветрами льду реки чернели мрачные проруби. Александр шепнул Вере:

— Каждую ночь расстреливают, гады,— и под лед...

Сердце ее сжал ужас.

В город сразу не пошли. Остались ночевать на вокзале Пермь-II в тускло освещенном мигающими лампочками, переполненном и вонючем зале. Скамейки были забиты. Люди сидели, лежали на мокром и грязном каменном полу. И стать-то негде: Вера растерянно оглядывалась, а Желтышев прямиком направился к развалившемуся на лавке толстому мешочнику и что-то быстро ему шепнул. Того будто ветром сдуло.

— Ты что же этому сказал? — тихонько спросила Вера, когда они устроились.

— Облава! — усмехнулся Сашка.

«Да, видать, он тертый калач». Урывками подремывая, Вера заметила, что с Александром здороваются и переговариваются какие-то оборванные, чумазые мальчишки. «Знакомые, должно быть,— удивилась она.— Странное дело».

— Кто это к тебе подходил?

— Зимогоры. Галахи. Раклы... В общем, золотая рота.

— Такие твои дружки?

— А то...

Под утро захотелось пить, и они вышли на перрон поискать водопроводный кран или кипятильник. Здесь подошли к ним три босяка, и Желтышев познакомил с ними Веру.

— Сестра моя, Валюха,— сказал он.

— Колька Боек,— представился самый маленький из оборванцев. Гибкий, подвижный, как пружина. И назвал другого, сумрачного, коренастого, в рваных опорках: — Это тоже Колька... Немтырь.

Третий — худущий, длинный, с костистым желтым лицом — важно подал черную от грязи руку:

— Кащей Бессмертный.

И торжественно пообещал:

— Ноне встретимся.

Зимогоры спрыгнули с платформы и исчезли, нырнув под вагон, так быстро, что не заметил часовой, прохаживающийся вдоль эшелона. Проводив их взглядом, Вера внимательно рассмотрела станцию. Вдоль всего перрона, в несколько рядов, стояли товарные составы,

они пропадали в темноте, далеко за вокзалом, тянулись и по другую его сторону, ближе к Каме. Помаргивали красные фонари, пыхтели, посвистывая, паровозы, лязгали буфера, покрикивали сцепщики. И надо всем висел густой морозный туман, пахнущий углем и машинным маслом.

Вот бы полазить по путям, позырить на эшелоны. Многое бы удалось узнать. Но где там. Это тебе не Верхотурье: там один состав торчал на виду, а тут десятки, да у каждого охрана. Так что Сашкины знакомцы, пожалуй, совсем не плохи, могут и пригодиться.

— Патруль идет,— промолвил Желтышев.— Марш обратно в вокзал.

Они вернулись в зал ожидания и обнаружили, что их место захвачено каким-то пареньком в кожушке.

— С чужого коня среди грязи долой,— согнал его Сашка.

— Чем же твои галахи занимаются? — полюбопытствовала Вера.

— На жизнь зарабатывают.

— Это как?

— Боек — карманник, дело нынче неприбыльное. В карманах-то больше ветер свищет. А те двое — котомщики, побогаче будут. В мешках да котомках целые сокровища... Ну, хватит, подремли. Завтра и находишься, и накричишься...

Опять приказывает. Что поделаешь, такова ее доля, он — старший, да и не прост, ах, совсем не прост. Он тут как рыба в воде, видать, не впервой. Так что подчиняться совсем не обидно. И все же что-то ее подстегнуло проявить хоть капельку своей воли:

— Давай прямо щас пойдем! — заторопила она.

— Нельзя,— отрезал Желтышев.— Комендантский час.

Глава восьмая

БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА

Вера не узнавала города, в котором побывала дважды. Правда, видела его недолго и в тревожные, суетливые дни, занятая службой, а последние сутки — в бою и поспешном отступлении. Да и Александр вел ее теперь какими-то окраинными улочками и переулками, зава-

ленными снегом, пустырями и огородами. Только когда вышли на горбатую мостовую Сибирской улицы, она вспомнила место, где в декабре гремела перестрелка и был ранен Настоящий Володька, где скакали всадники из ставшего ей родным кавалерийского эскадрона.

— Это что, к Красным казармам идем?— спросила она.

— Туда.

— А почему они Красные? Неужели в честь Красной Армии?

— Ну? С начала века стоят, кирпич красный — потому и назвали,— сердито ответил Александр, чем-то недовольный.— Ну-ка пройди вперед, а я на тебя погляжу.

Она послушно обогнала спутника, не понимая, чего он хочет.

— Походочка! Ты что, с коня слез? Ходи легко, вальяжно — как-никак барышня...

Промолчала: против Сашки не поспоришь.

На улицах было малолюдно. Лишь у лавок вились молчаливые длинные хвосты из пальтишек и шубеек, а шагали сплошь военные — мохнатые папахи, серые шинели, добротные нагольные полушубки, бекеши. Пролетели извозчичьи санки с офицером в золотых погонах и дамой в оренбургском платке. Шипя, стреляя и воняя мотором, промчался легковой автомобиль. За стеклом мелькнули фуражки, усатые лица. Вера вытаращила глаза, крутнула головой.

— Смотри, да не заглядывайся,— шепнул Желтышев.— Будто первый раз...

— А то в какой?

Справа тянулся запущенный городской сад. За чугунной оградой, утопая в снегу, тоскливо шумели оголенными ветками старые тополя, чернели осевшие павильоны, торчала чудная круглая беседка с белыми колоннами. Слева за палисадниками стояли зеленые дачи с балконами, к ним вели расчищенные дорожки, у входа ждали несколько легких санок, запряженных рысаками, с кучерами-солдатами на облучках.

— Веселые дома,— зло буркнул Желтышев.— Прежде богатые купцы и судовладельцы гуляли. Теперь — офицерье.

Вокруг открыто, невозбранно раскатывала на рысаках, жрала, пила вино, красовалась в погонах и мундирах ненавистная и наглая вражья сила. Здесь, пожалуй, можно встретить и хмельного поручика с пудовыми

кулаками, который едва не забил ее насмерть в верхотурской каталажке, и прапорщика, что вел ее к Кликун-камню на расстрел и расстрелял восемь безвестных товарищей. Здесь могли быть и те гады, которые замучили лобвинских коммунистов и надругались над трупами, и те, что оставили вдоль чугунки сотни и тысячи могил, и другие, из-за которых погибли тятины друзья и сам он еле ушел от смерти. Даже продажный Шутов, что выдал ее белякам и, конечно, переметнулся к ним, может шастать по Перми.

И вот теперь она идет им навстречу, в самое пекло, к казармам, где полным-полно колчаковских солдат и офицеров, и еще идет, как только может легко, девчоночьей походкой.

Над длинным тесовым забором поднимались крепкой кладки кирпичные дома. У каменных ворот в будке стоял часовой в тулупе. Из-за ограды доносились мерный топот, звяканье оружия, окрики и команды. А на краю площади островком темнел небольшой торжок, гомонили, суетились кучки людей с мешками, котомками, корзинами, коробами. Схватив Веру за руку, Александр быстро втерся в толпу, раскрыл разносный ящик и весело подмигнул:

— Давай нахваливай!

Не раздумывая, она бесстрашно и, как могла, звонко заголосила:

— А ну, подходи! Кому нитки-иголки, ленты-кружева. А ну, подходи!

Подходящих, собственно говоря, было немного. Из ворот казармы нет-нет да выбегали солдаты, отпущенные ненадолго, и, торопясь, прицениваливались к товарам. Покупали все больше съестное — вареный картофель и репу, соленые огурцы и грибы, пирожки с капустой, требухой. Немалый спрос был на нитки, иголки. Что касается лент, колечек и кружев, то они были не в ходу, крестики же не интересовали решительно никого. Изредка к базарчику подходили небольшие команды во главе с унтер-офицерами, и тогда покупателей прибывало.

Вера приглядывалась и прислушивалась. Солдатам хотелось не столько купить, сколько постоять с людьми, посудачить, поглазеть, отдохнуть от муштры. Они охотно торговались.

— Почем?

— По деньгам. А с солдат — табак да сахар.

— Больно накладно.

— Выбирай невесте подарочек.

— Эх, где-то та невеста!

— А где?

— Дальние мы, сибирские, мобилизованные. Только пригнали.

— Вот и купи кружевцев, пошлешь, порадуешь.

— Куда там, не до кружевцев. Скотину отобрали, изба гола. Вот нитки позарез нужны.

Молодой, с реденькими усиками солдат, зыркнув по сторонам, достал кисет и отсыпал Сашке махорки.

— Маловато,— укорила Вера.

— Будя.

— Добавь.

— Заткнись, а то все отберу! — сделав страшное лицо, пригрозил солдат.

— Здорово, земляки. Показывайте товар.

— Гляди, гляди, никому не заказано. Значит, и сам здешний?

— Почитай так, сто верст не околица. Кунгуряк... Полагаю, к весне по домам.

— В самом деле?

— А то. Сказывают, вскорости за Каму наступать будем. Ну и большевикам — каюк.

— Дай бог. А побьете?

— Само собой. Оружия дюже много. Надысь снова пулеметы привезли, заморские. Опять же порядок: кто назад повернет, тому пулю в лоб и семейство к ответу.

Время от времени из ворот казармы выходили офицеры. Солдаты спешили убраться восвояси.

Желтышев разговоров не затевал, скучно смотрел по сторонам. Похоже, что торговля и солдаты не очень-то его занимали и он кого-то ждал. Оживился он только тогда, когда со стороны городского сада к казарме подошла рота в необычном, прежде не виданном Верой обмундировании. На солдатах были новенькие, с иголочки, горчичного цвета шинели, чудно, не по-русски, пошитые, высокие фуражки с большими кокардами, твердыми широкими козырьками, здоровенные башмаки на толстых подошвах, зеленые обмотки. И винтовки были чужие, с ножевыми штыками.

— Неужто англичан пригнали? — изумились в толпе.

— Или этих, американцев?

— Все может быть.

— Кто их разберет. Ружья вроде английские.

— Хе-хе, а рожи-то, глянь, расейские.

Сбивчиво шагая, неровный строй пересек площадь и скрылся в воротах Красных казарм.

Вера первой заметила, как на базарчике появился недавний знакомец — Колька Боек. Покрутился среди торговцев, сунул нос туда-сюда, отбрехиваясь, и кругами приблизился к Желтышеву.

— Эй, купец, много наторговал?

— Проходи.

— Не бойся, не обижу.— Наклонился, подмигнул и сказал шепотом: — В Разгуляй приходи, там пока тихо. Знаешь?

— Угу,— ответил Александр и громко погнал босяка: — Сматывайся, чумазый.

Еще засветло они покинули приказарменную площадь, кружным путем, задворками, поднялись на взгорье и очутились в толчее улочек и тупичков — заблудишься хуже, чем в лесу. Александр быстро отыскал еще крепкий дом с каменным низом, вверху трактир, в подвале ночлежка. Видела Вера у себя в Лобве тесноту и грязь рабочих бараков, но такой не встречала. На нарах, в рвани, тряпье, люди ползают, как муравьи, сырость, духотища. Однако Желтышев был доволен:

— Как у Христа за пазухой.

— Не больно мы приметные?

— Видали тут всяких.

— А если облава?

— Другой выход есть. Ну и документы у нас в полном порядке. Да сюда и не суются.

К вечеру набилось полно разного люда — и оборванцев, и ничего, даже прилично одетых. В углу собрались босяки, среди которых были и те, что повстречались на вокзале. Играли в карты. На деньги, хлеб, табак и сахарин. Колька Боек пристал к Вере:

— Сыграй, ну.

— Не хочу, не умею.

— В очко-то? Научим.

— Денег нет,— соврала она. У них с Александром было более двух тысяч целковых.

— Небось наторговали. У братца попроси.

Посмеиваясь, Желтышев неожиданно предложил:

— А чего, Валюха, поставь... Много не дам, а попробуй: новичкам фартит.

Босяки в десять минут обучили Веру премудрости игры в «двадцать одно».

Вера дважды подряд сорвала банк и раззадорилась:

— Сдавай.

— Баста.— Остановил Александр.— И выигрыш не брать.

— Это почему?

— А вот так, сестрица,— усмехнулся Желтышев.— Кто продулся? Колька Боек. Отлично, пусть в должниках походит. Позже стребуем.

Уступив сестре местечко на нарах у стенки, Александр отгородил ее от ночлежников, улегся рядом. Вера уснула, как утонула. Проснувшись, услышала тихий разговор у дверей подвала. Старый, продрогший до костей бродяга, стуча зубами, говорил лежавшему на полу Немтырю:

— Опять на Каме стреляли. У того берега. Народу загубили страсть...

Желтышев уже собрался. Умытый, бодрый, торопил Веру. Прожевав по ломтю хлеба и запив водой, отправились в путь. За Разгуляем перешли глубокий Егошихинский, как назвал Сашка, овраг с замерзшей речушкой, оставив справа обширное кладбище с множеством свежих, едва присыпанных снежком могил и крестов, поднялись на бугор, вошли в улицу из одноэтажных домиков. Вдалеке чернел поселок, а за ним поднимались огромные корпуса и высокие кирпичные трубы, висело темное облако дыма.

— Мотовилиха,— пояснил Александр. И Вера вспомнила, что туда ее приглашал помкомроты Шабунин. Так и не сходила ни на Мотовилиху, ни в театр на «Бориса Годунова».

— Ты тут постой,— показал Желтышев в подворотню.—Я скоро. Если кто спросит, скажешь как есть: брата, мол, дожидаюсь, сейчас выйдет...

— Куда же ты-то пошел?

— Конечно, товар предлагать... Или — к девахе, скажешь,— усмехнулся он.

Стояла довольно долго, продрогла и в душе ругала Сашку. Что же ей, так и таскаться за ним. Обидно всетаки... Тихо прикрыв калитку, Желтышев потащил ее дальше.

И все повторялось и в тот день и на следующий.

Очень уж Сашка дорожит разносным ящиком. Чуть кто подозрительный на пути, тотчас передает ей: с девчонки спрос меньше. Чем же он так дорог, этот ящик? Не ленточками, не крестиками, которые никто не покупает. А тем, что на картинках, наклеенных изнутри на крышке, Желтышев делает разные записи. Пишет он не буквами, а условными знаками. На картинках там и сям чертит какие-то палочки, крестики, кружочки, а то и немыслимые закорючки.

— Ежели меня задержат,— не раз предупреждал ее Желтышев,— ящик пуще глаза береги. Иди в условленное место, говори пароль. Тебя и в поезд посадят, и встретят, и проводят. Пароль и адрес помнишь?

— Как же. Назубок. Все же ты бы со мной в это место сходил.

— Нельзя. Только при крайней необходимости.

Непонятный этот Сашка, загадочный и удивительный. Со всякими людьми умеет поговорить, подход имеет. К примеру, заходили ненадолго на торговое подворье — пополнить свой галантерейный товар — и встретили там важного старичка в чиновничьей шинели и фуражке. Так с ним Желтышев заговорил по-ученому. «Ситуация,— сказал,— самая неблагоприятная, а коммерция, изволите ли видеть, находится в полнейшем запустении».

В этот же день, у вокзала Пермь-I, что на берегу Камы, им, как нарочно, а может, действительно нарочно повстречался Кащей Бессмертный, тощий, верткий, как змееныш.

— Здрасти-пожалуйста. Как поживаете, каково наживаете?

— Здоров, Кащей, похлебал ли щей? — в лад ему ответил Сашка.

— Где уж нам. Все ходим по чугунке, проверяем мешки да сумки.

И они заговорили на таком тарабарском языке, уму непостижимо. Однако Вера кое-что уловила. Желтышев явно просил что-либо прознать, разведать на станции. Самим-то им по путям ходить не резон, а босякам где ни шататься...

Четвертый день вышел неудачным. Кругом не везло.

С утра торговали на большом базаре за Кунгурской улицей. Здесь толпа была погуще, чем у казарм, стояли

лавчонки, тесовые ряды. Вера бойко зазывала покупателей. Желтышев внимательно смотрел по сторонам. Сюда приходили не только солдаты, но и унтер-офицеры, даже офицеры. Но надолго задержаться не удалось. К ним прицепился низкорослый старик с крючковатым носом, торговец иконами. Он подозрительно косился на Сашку, а подойдя, зашипел и погрозил перстом:

— У-у, нехристь. Надумал святой товар продавать. Вот ужо я тебя в полицию...

Чего ему было нужно? Не понравилось, что в ящике нательные крестики? Покупателей отобьют? Или похуже — признал Желтышева?

Во всяком случае, Сашка ее быстро увел.

— Пойдем на Пермь-I,— сказал он.— Я переулками, а ты по берегу, мимо дома пароходчика Мешкова. Знаешь такой?

— Как же. Красивый. В нем же наш штаб...

— Помолчи! Иди не спеша, гляди, какая охрана, кто входит, выходит. Задержат, показывай документ. И не моги врать: к брату идешь, торгует у вокзала...

На набережной у нее защемило сердце: полно офицерья. Ехали на извозчиках, на санках с кучерами-солдатами, верхом, шли, поскрипывая наваксенными сапогами, по узкому тротуару. Пялили на нее глаза. Идешь, как под обстрелом. И на белокаменный дом с колоннами, поднявшийся на откосе, глядеть было опасно. Ну как приметят, что больно интересуется.

А посмотреть было надобно. Какие-то важные господа, в золотых погонах, голубоватых и зеленых шинелях, в пышных бекешах, стояли у входа около двух блестевших черной краской автомобилей. На двух форма нерусская... Кто же это? — Она остановилась.

— Барышня! — раздался резкий голос.— Что тут потеряла? А ну, марш отсюда!

Это крикнул конвойный. Целый конный взвод на одинаковых, серых в яблоках лошадях высился за автомобилями.

Вера побежала и сразу столкнулась с высоким молодым офицером.

— Стой! Куда? — поручик схватил ее за руку.— Кто такая?

— Валентина... Ники-форовна,— и притворяться взволнованной не пришлось, так была растеряна.— Желтышева...

— Документы?

Вера дрожащими руками вынула бумагу. Офицер схватил, быстро прочел.

Взгляд ее уперся в перекрещенные на шинели коричневые ремни, широкий пояс с сияющей бляхой, кобуру и новенькую кожаную полевую сумку.

— Ну-с,— сказал офицер, возвращая бумагу.— Отчего же вы так летели, мадемуазель? — и пальцами в перчатке приподнял подбородок.— Ну-с?

— Дяденька погнал, крикнул, чтоб проходила.— Она показала на дом Мешкова.— Ругался...

— А-а... И не зря ругался. Не место для прогулок... У кого служишь, барышня?

— Брат торгует, помогаю.

— То-то. Видно, что не из настоящих. Скажи братцу, чтобы подкормил. Субтильна слишком. Ну, марш! — И он поправил на поясе кобуру с револьвером и полевую сумку.

Эту сумку из мягкой коричневой кожи, набитую столь плотно, что она раздвинулась, как меха гармошки, Вера запомнила. И по дороге думала о ней. Она корила себя за неосторожность: зачем остановилась на самом виду, за невнимательность — худо разглядела белогвардейское начальство,— и все возвращалась мыслями к полевой сумке. Вот бы прихватить такую! В ней, конечно, важнейшие бумаги. Только как это сделать?

Желтышев стоял у вокзала в кучке торговцев с раскрытым разносным ящиком. Увидев ее, сказал с досадой:

— Валентина, где же ты болталась, а я заждался.

Заведя ее за угол станционного здания, тихо спросил:

— Кого видела?

Она сказала про начальство у автомобилей, конвой и про каких-то офицеров или генералов в нерусской форме.

— Какая форма?

Сашка придирчиво расспрашивал про цвет шинелей, погоны, оружие. К сожалению, она знала очень мало.

— И на том спасибо. Проверим.— Похоже, что он был ею недоволен.

К концу дня они направились на Разгуляй. На подходе к ночлежке стоял, сгорбившись, постукивая рваными валенками, Немтырь. Завидя их, молча замахал

руками, закачал головой: идите, мол, прочь, сюда нельзя.

— Ясно, Валюха. Кругом, марш,— приказал Желтышев, и они побрели на Мотовилиху.

Но и здесь пробыли недолго. В приземистый домик у оврага их впустил сухощавый мужчина в черной косоворотке, назвался:

— Василий.

Пока его жена в чугунке кипятила морковный чай, приговаривая: «Извините, гостюшки, попотчевать нечем», Вера рассмотрела комнату. Смотреть-то было не на что: лавки, кровать, закопченная икона в углу. С темной печки голодными глазами глядели мальчик и девочка. У нее сжалось сердце: может, и Сережка так голодает.

— Идите сюда, ребята,— позвала она и, вытащив из котомки припасы, оделила их хлебом, кусочками сахара. Дети схватили, прошептали: «Спасибо, тетечка» — и полезли обратно на печь.

— Так вот и живем,— рассказывал Василий.— В заводской лавке — пустые полки, все с базара, а там не укупишь. В цеху — каторга. Унтеров понагнали. Перекурил — штраф, поговорил — штраф, а то и зуботычина. Благо, что и курить нечего,— горько усмехнулся он.— А третьего дня шестерых взяли...

Чай допить не успели. В двери постучали. Хозяин вышел в сени, вернулся с озабоченным лицом и, отозвав Желтышева, что-то шепнул.

Уходили поспешно, огородами.

Прежде чем нашелся кров, Вере пришлось долго мерзнуть в каком-то темном дворе, заставленном телегами и пролетками. Желтышев все не шел. Забухали шаги. Она прижалась к щели забора. По улице шагал патруль. Солдаты открывали ворота, калитки, фонариками высвечивали дворы. Вера отбежала в глубину и, прыгнув в пролетку, прижалась к сиденью. Луч фонарика пошарил по занесенным снежной крупой экипажам, повозкам, совсем рядом. Она затаила дыхание. «Лучше уж на улице попасться, можно чего-нибудь сбрехнуть, а тут «зачем пряталась» и крышка».

Пучок света ускользнул, шаги удалились. Слава богу, пронесло.

Сашка тихонько свистнул.

В узком коридорчике двухэтажного дома их встре-

тила аккуратная старушка в чепце и накинутом на плечи поношенном салопе. Удивительно, что она называла Желтышева по имени:

— Вы, Сашенька, не сомневайтесь, здесь тихо, спокойно...

Проводив в угловую комнатку, показала на железную кровать, застланную лишь старым, выцветшим одеялом.

— Живу я, Сашенька, в бедности, все свои хруны расторговала — до простынок дошла. Барышню — на кровать, а вам, Сашенька, на полу постелю, извините. Да вы не беспокойтесь, пять приступочек — ну и, вы знаете, оттуда ход во двор.

Александр ушел с ней и долго пропадал. Вера не могла заснуть. Вернулся он задумчивый, сумрачный. Рука, державшая зажженный свечной огарок, дрожала. Спать лег не сразу. Притушив свечку, постоял у темного окна.

Она приучилась не задавать лишних вопросов, только по делу: куда идти, что делать, где ждать, что сказать. А ей хотелось узнать побольше про своего умного и ловкого спутника. Ясно, что пермский, долго жил в губернском городе, видать, и учился немало. Поражали его знакомства — рабочие, чиновники, босяки и вот эта старушка... И какое у него горе?

— Ложись, Саша,— позвала она.

— Сейчас,— ответил тот дрогнувшим голосом.— Сейчас лягу.

— Что случилось-то? Скажи, может, полегчает?

— А что? Ничего... Да. Путешествию нашему конец. Погостили, и хватит. В ночь уедем... Спи, Володьша.

Почему же он не доверяет? Кажется, показала себя и сдержанной, и неболтливой, послушной и преданной, как слуга Личарда, о котором говорил комиссар... Теперь она понимает: нынешняя разведка совсем не похожа на актайскую, нос высунул и углядел. Нет, здесь куда сложней. Не ты один во вражеском стане, а десятки тайных, безымянных, притихших до поры до времени людей. И все же она может не только тенью ходить за Сашкой, караулить в подворотнях, нет, она способна на большее. Жаль, что, наверное, в этом уже не придется его убедить: завтра в обратный путь.

...В плечо легонько толкнули. Над кроватью склонился Желтышев, в шинели и фуражке, молча протянул

пальтишко: одевайся. В дверь колотили редко и сильно. По коридору прошелестели юбки: старуха пошла открывать.

Александр уверенно шагал в темноте, спускаясь по ступенькам. В подвале зажег свечку. Метнулись по сторонам крысы. Пахло пылью, пометом, лежалым хламом.

Сашка открыл оконце над самой землей, худенький, ловкий, быстро пролез, разгреб снежный занос, протянул руку. Они оказались в давешнем дворе с телегами и пролетками.

Стояла глубокая ночь.

— В Разгуляй,— шепнул Александр.

— А как застукают?

— Надо.

Пришлось бежать напрямик по немятым сугробам, трижды перелезать через заборы, протискиваться в узкие проломы, сползать с кручи, пока не очутились на задворках знакомой ночлежки. Здесь, как было заведено, Желтышев ее оставил, приказав спрятаться за поленницей дров.

До рассвета было еще далеко. Занесенные снегом фонари давным-давно не зажигались. Но в свете полной луны тесный проулок и часть наезженной улицы с афишной тумбой были отчетливо видны. Гулял сырой ветер, проносил шорохи, стуки, скрипы. Чутко прислушиваясь к ним, Вера зябко подрагивала. Прошло немало времени, когда с улицы долетели стук копыт, повизгивание полозьев и громкие голоса.

Вскоре показались вороной рысак и санки с беспокойными седоками. Четверо офицеров в небрежно надетых шинелях и перекошенных ремнях привскакивали на сиденьях, размахивали руками, пели вразнобой. Видать, возвращались с крупной попойки.

— Сто-о-ой! — закричал один из них.— При-и-ехали!

Извозчик натянул вожжи. Из саней вывалился толстый высокий офицер и махнул остальным: — Адью. Пшел!

— Мишель, не заблудись.

— Ч-чепуха, я д-дома.— И заголосил: — Б-боже, царя храни... Сильный, державный... царствуй!

Санки скрылись за поворотом. Пьяный офицер походил кругами, ткнулся в забор и шагнул на мостовую. Его сильно занесло, и он рухнул в снег. Поворочался,

бормоча ругательства, и затих, уткнувшись в сугроб.

Вера приметила погоны штабс-капитана, багровое лицо под смятой папахой, и взгляд ее так и прилип к толстой полевой сумке, точь-в-точь такой же, как у поручика на набережной. Мысли бешено закрутились. Что, если рискнуть и взять? Есть же там важные бумаги! Да и личные документы пригодятся. Вот она и поможет Сашке. И докажет. Пусть знает Володьшу Холкина! А коли не выйдет? Получится шум, а то и драка. Вон он какой здоровенный хряк, этот капитан... Не надо спешить, должно обдумать и осторожно присмотреться...

Раздался знакомый тихий свист. Она поспешила к ночлежке. У дверей стоял Желтышев с двумя галахами — Бойком и Кащеем.

— Пошли.

«Вот кто может с сумкой-то расправиться,— мелькнуло в голове.— Колька Боек. Ему раз плюнуть. Надо его задержать».

— С ногой у меня чего-то,— схитрила она.— Болит... Идите... Боек, помоги.

— Хорошо,— заторопился Желтышев.— Догоняйте, будем ждать за забором. Нечего тут всем торчать.

— Слышь, Колька?

— Ну?

— Иди сюда. Глянь,— она потащила его через улицу.

— Ишь какой гусь... Хи, в лежку. Из ушата не отольешь.

— Да не то. Ты сумку... спроворь... За долг. В карты проиграл, вот и будем квиты.

— Хитра.

— Не сомневайся, деньги твои. Сладимся.

— А чего же,— неожиданно легко, с улыбкой в голосе согласился карманник.— Я в момент...

Он опустился на колени и, достав из-под драного армяка ножик, пополз по обочине.

Вера с трепетом ожидала его у ночлежки, готовая, если понадобится, прийти на помощь: вдвоем одолеют. Но через несколько минут Боек был рядом с толстой сумкой в руке:

— Вот она... Дрыхнет, идол, из пушки не разбудишь.

— Давай.

— Зачем? Я и сам могу отдать.

— Кому? — изумилась Вера.

— Братцу твоему. Ты что, умнее его? Он еще третьего дня просил: достань ихний документ. Вот я и достал...

Боек первым перескочил через забор. Раздосадованная и обиженная, она перелезла следом... Это ж надо, хотела и удивить и обрадовать, а Желтышев без нее додумался. Какая же она недотепа!

Сумка была уже у Сашки. Не расспрашивая, он мигом выпотрошил ее и при лунном свете быстро разобрал бумаги. Оставил себе маленькую книжечку и еще несколько листков. Недолго подумал и прихватил еще бумажку, напечатанную на машинке.

— Держи, братва,— Желтышев протянул Бойку смятую пачку денег. А все прочее похороним. Он засунул полевую сумку глубоко в сугроб, хорошенько примял и припорошил снежком.— Ну вот и все, не поминайте лихом. А может, бог даст, встретимся.

Расставшись с Кащеем и Бойком у базара, что за Кунгурской улицей, они к утру добрались до поселка при станции Пермь-II. Зашли в домик железнодорожника, тот, куда надлежало прийти Вере, если Сашка попадется. Только тут он напомнил про офицерскую сумку:

— Ты, Холкин, оказывается, прыткий, поперед батьки в пекло лезешь. А это в нашем деле ни к чему. Ну, ну, не дуйся.

Спустя двое суток, после бессонной, суматошной ночи, разведчики находились далеко за станцией Шабуничи и, как по дороге в Пермь, отдыхали в охотничьей избушке. Те же проводники поочередно несли караул. Желтышев был неузнаваемо оживлен и говорлив.

— А совсем недурственная барышня получается из тебя, Холкин,— подтрунивал он.— Мамзель хоть куда.

Думая о своем, Вера вполуха слушала шутки. Пусть теперь потешится, несладко ему пришлось. После разведки она про себя уже не считалась с его старшинством, не чувствовала подчиненной, слугой Личардой. Ей на память пришел поздний вечер в доме у старушки, которая распродала все свои хруны и звала Желтышева по имени. Чем тогда был опечален Сашка? Только тем, что его приметили в городе и дольше оставаться было нельзя? Вряд ли. Ведь они уже сделали свое дело.

— Саш,— перебила она его.— Скажи, что у тебя за беда приключилась, узнал у бабки, а?

Желтышев побледнел и ссутулился, будто на плечи лег тяжелый груз. Долго молчал, грыз ногти.

— Что ж, скажу тебе, Володьша. Батю хотел повидать. Как-никак почти два года не сходились. А не вышло. Нет его, схватили, гады, упрятали в острог, а может и похуже...

— Кто у тебя тятя-то? Небось шибко ученый?

— Он-то? Человек.

В этом долговязом симпатичном парне с рыжеватыми бровками заключена была особая, скрытая сила, с которой Вере еще не доводилось встречаться.

Она знала, как терпеливо, стойко люди переносят тяготы пеших и конных походов, лютые морозы и ветры, голод и неуют, как храбро, отчаянно кидаются в штыковые атаки, ведут изнурительные перестрелки, скачут в свирепые сечи, гибнут в открытом бою. Но есть, оказывается, и другая сила, затаенная, сжатая, как пружина, которую постоянно сдерживают и отпускают с умом, расчетливо и осторожно. «Мне бы хоть капельку этой силы»,— позавидовала Вера.

Глава девятая

СПАСИБО СОБИРАТЕЛЮ ПОДКОВ!

Вот как бывает порой: поманит тебя радость, подразнит, даже потешит недолго, а следом за ней накатит горе.

Оставив в штабе дивизии временную одежку — пальтецо и платье, Вера снова облачилась в красноармейскую форму и на попутной подводе добралась до деревни, где квартировали кавалеристы. Эскадрон ее встретил, как родная семья.

— Здоров, Володьша. Долго же ты пропадал.

— Эй, браток, чтой-то с лица спал. Уж не к Шурочке ли заглядывал?

— Буян по тебе скучает.

Коня она получила от Ивана в полном порядке: сытый и гладкий.

— Он у меня заводным ходил,— пояснил Горбунов.— И кормился изрядно, денежки зря не расходовал, могу отчитаться.

— Чего там, и так видно... Буянка ты мой, красавец. Смотри, узнал хозяина...

Чалый мерин весело пританцовывал, горделиво выгибал высокую шею и поворачивался окрепшими крутыми боками. Черный горбик на крупе лоснился, и Вера вспомнила, что из-за него-то Блохин назвал коня двужильным. Теперь-то так оно и есть. Силушка в нем играет.

— Спасибо, Ванюша, постарался.

Никто, кроме Дробинина, не ведал, куда и зачем на целых десять дней отлучался боец Холкин, но все конники понимали, что задаром хлеба не ел, а нес службу. Любопытных же отшивал старшина:

— Где надо, там и был. Особое задание.

Эти же слова повторил и начштаба на третий день по возвращении Веры, на недавно введенной вечерней поверке.

Эскадрон повзводно вытянулся вдоль деревенской улицы. Чернышев-старший подал команду. Всадники выровняли коней и замерли в седлах, глядя на крыльцо, где стояли Дробинин, начальник штаба Смелов и старшина Блохин. За околицей, прямо на черные пики елей, садилось багряное солнце, длинные тени ложились на потемневший снег, будто сказочная конная рать стояла в затылок бойцам. Ветер был свежий, влажный, пахло весной.

— Здравствуйте, товарищи красноармейцы!

— Здрав...— грохнул эскадрон.

Когда Блохин закончил перекличку, Смелов прочитал выписку из приказа, пришедшую из штаба дивизии. В ней было сказано, что за успешное выполнение особого задания красноармейцу-добровольцу кавалерийского эскадрона Запасного полка Холкину Владимиру объявляется благодарность. «Горячо поздравляем бойцов,— говорилось в бумаге,— доблестно выполняющих свой революционный долг».

— Ура! — заключил начальник штаба.

— Ур-ра! — ответил строй.— Ура!.. Качать Холкина.

— Порядок, товарищи,— поднял руку Дробинин.— Имею кое-что добавить. Командование эскадрона решило преподнести награду геройскому красноармейцу... Товарищ Холкин!.. Ко мне!

Обрадованная и смущенная, Вера спрыгнула с коня, сунула повод Горбунову и, бочком проскользнув меж лошадиных крупов, зашагала к крыльцу.

Руби! — крикнул Ванюша.— Шаг руби!

Она стукнула подошвами что было мочи и испугалась, как бы не развалились дряхлые сапоги.

— Молодец, Холкин,— одобрил комэск.— Старшина, преподнеси...

Выдвинувшись вперед, Блохин протянул руку и раскрыл широкую ладонь. В ней что-то ярко блеснуло. Сгорая от нетерпения и любопытства, Вера дернулась, чтобы посмотреть...

— Не торопись, Володьша,— усмехнулся в бороду старшина,— твои будут, не отымем... Прежде поясню. Видите, товарищи, эти кавалерийские шпоры? Красоты неописуемой. Промежду прочим, сделаны из чистого серебра. А в них, то есть в шпоры, заместо звездочек вставлены царской чеканки пятиалтынные, как известно вам, такие же серебряные. Штучка занятная. Самолично добыл в бою... А теперь послушайте.— Он, склонив кудлатую голову, тряхнул рукой.

В тишине полились чистые тоненькие звоночки.

— Малиновый звон! — воскликнул Блохин.— Ну, Володьша, бери, носи с честью,— и, утерев губы рукавом, чмокнул Веру в щеку.

Поставив Буяна в конюшню, Вера побежала в избу. Сорвав с сапог осмеянные Витькой железные, огромные, как ухваты, шпоры, приладила новые, легкие и красивые, прошлась по половицам, щелкая каблуками.

— Щелк-дзинь... Щелк-дзинь,— запели шпоры.

— Ух ты, знатно! — восхищался Ванюша. Витька Чернышев косился и сопел. Страшно завидовал...

Через сутки уже некогда было вспоминать о радостной встрече, благодарности, поздравлениях и серебряных шпорах с малиновым звоном. Кавалерийский эскадрон ночью снялся с места и походным порядком, с редкими и короткими привалами, двинулся к железной дороге. Шли торопливой рысью, тянули за собой обоз. Спешили. Только вовсе не на восток, к Перми, не в наступление, которого давно и нетерпеливо ожидали, отходили на запад, к городу Глазову.

Случилась беда: колчаковцы опять прорвали фронт.

Адмирал Колчак начал новое наступление 4 марта. Первой выступила его Сибирская армия под командо-

ванием генерала Гайды. Части корпуса генерала Пепеляева в сумерках переправились по льду через Каму и ударили в стык наших 2-й и 3-й армий, между Оханском и Осой. Южнее атаковал белогвардейский Степной корпус.

7 марта колчаковцы с трех сторон ворвались в Оханск, на следующий день — в Осу и продолжали продвигаться через Очерский завод к железной дороге Пермь — Глазов, пытаясь отрезать 29-ю стрелковую дивизию от других красных войск.

Генерал Пепеляев хвастливо заявлял, что не пройдет и полутора месяцев, как он будет в Москве.

Однако части нашей 3-й армии упорно сопротивлялись. Чтобы выровнять фронт, они вынуждены были отойти, но надежно прикрыли дорогу на Глазов.

Белый генерал Гайда впоследствии писал: «Левый фланг противника упорно защищает каждую деревню и отступает очень упорядоченно, оставляя слишком мало трофеев».

К середине апреля фронт Советской 3-й армии проходил в 75 верстах восточнее Глазова и далее на северо-запад к верховью реки Вятки.

...Двинулись размеренным шагом, сдерживали, берегли коней. Снег, просевший под теплым солнцем, ночью затянулся трескучей коркой. Взводный Смирнов недовольно оглядывался на растянувшуюся по просеке цепочку конников и шепотом ругался:

— На козе бы вам сидеть...

Шли в разведку, и лишний шум был ни к чему.

Вера ехала третьей, вслед за Горбуновым. Прислушиваясь к мягким шагам Буяна, копыта которого загодя обмотала тряпками, раздумывала о недавних событиях. Отступление представлялось ей непонятным, до боли обидным и горьким. То, что начиная с января она видела близ линии фронта, вселяло твердую веру в силу и непобедимость Красной Армии. Новые воинские части, прибывшие с запада и сформированные здесь; пополнение, которое обучали в запасных полках и маршевыми ротами направляли на передний край; строгий порядок, укоренившийся повсеместно; винтовки, пулеметы, пушки, снаряды и патроны, доставляемые эшелонами и обозами, которые ей доводилось конвоировать,— все внушало надежду и уверенность в успехе.

И вдруг опять поперли колчаки, и до сих пор жмут, хотя пришла весна, самое время для нашего наступления.

Но среди ее однополчан, друзей и знакомых она не замечала ни паники, ни уныния. Как будто бы не беляки лезут на нас, а мы уже гоним их!.. В первых числах апреля она виделась с отцом. Тятя опять дал ей денег на Буяна и при этом наказал:

— Веруня, корми коня вдосталь, чтобы прямиком до самого Екатеринбурга доскакал.

Несколькими днями позже с отрядом кавалеристов она въехала в Глазов. Было приказано принять под охрану большой обоз. На базарной площади, не слезая с коня, она высматривала, чем разжиться на дорогу, когда сзади тихо подрысил какой-то всадник и тронул ее за плечо. Она обернулась и узнала Михаила Тюляева.

Последний раз они виделись в ноябре прошлого года на кордоне Буйный. Она тогда была робким неумехой-пехотинцем и завидовала лихому коннику.

Пусть теперь Миша полюбуется ею, одетой в кавалерийскую форму, ее оружием и красавцем Буяном.

— Здоров, земляк!

— Здравствуй... Как теперь тебя звать-величать? — Тюляев сверкнул белозубой улыбкой, покрутил усы.

— Холкин моя фамилия, звать Владимиром.

— Значит, как и было... А я-то думал, ты еще чего умудрила,— смеялся Михаил, не сводя глаз с Буяна.— Хорош у тебя конь. В бою добыла?

— Угу...

Повспоминав родных и знакомых, стали прощаться.

— Ну, всего тебе доброго, Вера. Скоро встретимся в Лобве... Будет троица, приходи на гулянку, пустим такую геройскую девицу.

«Видишь ты, на гулянку, будто завтра война кончится!..»

Вторые сутки конный взвод скрытно колесил по лесным тропам, то углубляясь на территорию противника, то возвращаясь к нашим позициям. В серый рассветный час Смирнов придержал коня. Бойцы до замыкающего старшины Блохина настороженно замерли.

— Чу! — взводный поднял руку.

Издалека донесся скрип саней.

— Холкин, глянь...

Легко взяв косогор, Буян выбежал к опушке... По

проселку, протаявшему до земли, медленно и тяжело ползли десятка полтора саней. Чьи? Неужели белых? Нет, не похоже. На подводах раненые бойцы. Белеют бинты и тряпицы. Иные держат винтовки наизготовку. На последних санях коренастый мужчина в тулупе с ручным пулеметом тревожно глядит назад: нет ли погони. Вера признала в нем начальника хозяйственной команды, к которому ездила с пакетом еще на Воронке.

— Минаков!— окликнула она и пустила Буяна на дорогу.

— Холкин? Ты?

— Я, дядя Николай, и не один.

— Ты — мой ангел-хранитель, в январе от кулацкого бунта спас, и теперь сам бог тебя послал. А мы попали в серьезную переделку. Остались у беляков глубоко в тылу — моя инвалидная команда и раненых десятка три набралось... Поначалу тайно уходили, а теперь беляки нас обнаружили и прицепились, как репьи. Дважды отбивались, но сил-то у нас чуток. Выручайте, братцы.

Выслушав доклад, Смирнов чертыхнулся:

— Не было печали, целый обоз накачали. Так... и разэдак. А куда денешься, не бросать же родимых...— Подъехал к Минакову, расспросил его и приказал: — Давай, третий разряд, сворачивай на лесную тропу, там хоть снегом пахнет, и скрипи потихоньку. Кто за тобой увязался? Пешие или конные? Казаки. Так. Прикроем. А не управимся, уведем подальше... Трогай!

Взвод встал в засаду близ дороги. Когда из-за поворота показались первые три всадника в высоких папахах и башлыках, Смирнов скомандовал:

— Пли!

Ударил залп. Два казака упали с коней, третий, развернувшись, умчался назад. Ждать пришлось недолго. Из глубины леса потянулся частый топот: приближался конный отряд.

— Марш!

Они понеслись, увлекая за собой врага.

Исчезли кудлатые верхушки сосен, голые ветки берез, белесое небо с едва проклюнувшимся холодным солнцем. Остались грива коня, сжатые в кулак поводья и непрерывно прыгающая дорога с серыми клочьями снега, набухшей весенней грязью. Топот десятков конских копыт слился в сплошной гул.

Буян шел крупным галопом. Вера оглянулась. При-

томленные кони сбивались на рысь, всадники подгоняли, нахлестывая их плетками. Замыкавший цепочку Блохин, повернувшись в седле, стрелял из драгунки по приближавшимся казакам. «Не уйти,— подумала Вера,— на хвосте повисли, гады». Буян мог прибавить ходу, но разве она одна? За ней не угнаться ни Горбунову на неходкой кобылке, ни Цыганку на грузном жеребце, ни старшине, уже ввязавшемуся в драку. Не миновать сшибки...

О том же думал и взводный. Ему надо было еще решить, где дать бой.

Проскочили несколько лесных прогалин, но Смирнов гнал дальше. Только когда за мелколесьем открылась широкая кочковатая поляна в обнажившейся бурой траве, взводный круто свернул на нее. За ним вымахнули остальные. Всадники успели образовать редкую цепь, когда показались казаки. Теперь бойцы были лицом к врагу.

Ошеломленные внезапным исчезновением красных, казаки растерянно озирались, натягивали поводья, сдерживая коней. Задние, не понимая, в чем дело, налетали на передних. На узкой дороге конный строй скрутился в клубок.

— Шашки — вон! — вскричал Смирнов, поднимаясь на стременах.— В атаку, вперед!

Блеснули клинки. Перед глазами замелькали папахи, бороды, расширенные от ужаса глаза. Вера нанесла только один удар. Буян поднес ее к высокому всаднику, и она едва достала шашкой до его плеча. Буян рванул в сторону. Она заметила, как ее противник повис на стремени.

Разбив разведку вражеского отряда, Смирнов отвел конников в глубину поляны. И вовремя: прискакали еще десятка два казаков и с ходу обрушились на взвод.

Увязая копытами в рыхлой земле, сшибались кони. На храпах пузырилась пена. Звенели клинки, высекая искры. Кричали, ругались, стонали люди. Терпкий запах пота и крови висел над поляной. Смирнов, Блохин и еще пяток старых кавалеристов, рубя направо и налево, пробивали дорогу молодым.

Веру завертело в бешеном круговороте. Она не могла даже размахнуться и рукоятью шашки ударила в голову подвернувшегося казака. Дважды Буян отворачивал от налетавших вражьих коней, и казачьи

клинки со свистом пролетали мимо. На третий раз она оказалась лицом к лицу с дородным бородачом. Огромный, широкогрудый, он высоко поднялся на стременах для удара. Только что увернувшаяся от сшибки, с опущенной шашкой, Вера еще не разогнулась и была беспомощной. Страшное оцепенение мгновенно сковало тело. Секунда отделяла ее от гибели...

Но вдруг казачий клинок, блеснув, качнулся, бородач с хрипом осел и упал на шею коня.

Извернувшись, Буян пронес ее дальше. Вера повернула голову: казак сползал на землю, а рядом с ним пронесся, вздымая шашку, Блохин.

Взвод углубился в лесную чащу и ушел от врага. Понеся немалый урон, казачий отряд замешкался на дороге и возобновил преследование, лишь когда красные конники успели нагнать обоз и вместе с ним приблизились к своим позициям. Пулеметные очереди стеганули по разлетевшимся в погоне казакам...

— Ну, Холкин,— сказал Смирнов,— благодари бога и старшину Блохина. Помни собирателя подков, коли бы не он, быть тебе порубанному...

Глава десятая

ЗИМОВАЯ РОЖЬ

С марта до самого июня фронт держался восточнее города Глазова, то отходя, то приближаясь к нему. Встретив упорное сопротивление красных войск, колчаковцы не переставали атаковать. К ним из Перми, Екатеринбурга, из Сибири подходили свежие части, хорошо вооруженные и экипированные.

Основной натиск белого генерала Гайды пришелся на 29-ю стрелковую дивизию, которая в ту пору была ослаблена: несколько полков из ее состава перебросили на правый фланг 3-й армии, где наше командование создавало ударную группировку.

29-я, как всегда, держалась с исключительной стойкостью, нанося крупные потери белогвардейцам.

В последних числах апреля эскадрон Дробинина воевал вместе с пехотой, отражая вражеские атаки. В полночь кавалеристы сосредоточились в березовой роще, в полуверсте от наших окопов, и, не расседлывая коней, дожидались рассвета. Ввиду близости неприятеля

костров не разводили, топтались, прохаживаясь, а кто помоложе бегали вприпрыжку и боролись, чтобы согреться и уберечься ото сна.

— Скорей бы,— сказала Вера.

— Куда спешишь,— ответил Горбунов.— Мимо не пройдут.

— Самим бы рвануть, да в село.

— Ишь, чего захотел, Володьша. Беляки небось укрылись, кто в окопах, кто в избах, пулеметов понаставили, как начнут огнем поливать... Вот когда они сами нос высунут, тогда ударим.

— А ну как в наши окопы залезут?

— Ни-ни... Дробинин — мужик сметливый, не даст.

Едва посерело небо, как из белогвардейских окопов без единого выстрела, тихо поднялась цепь солдат и покатилась к нашим позициям. Колчаковцы были одеты в горчичного цвета нерусские шинели и темным гребнем выделялись на желтоватой пожухлой траве.

— Это какие идут? Форма-то чужая!— раздались голоса.— Англицкая, что ли?

— Англичаны и есть.

— Вот кого на нас напустили, вояк чужестранных, сволочи!

«Да нет же,— хотела крикнуть Вера, вспомнив пермскую разведку.— Шинели английские, а рожи-то расейские!» Но кругом шумели бойцы, одержимые внезапно вспыхнувшей яростью:

— Суки продажные, русской земли захотели!

— Из-за моря понаехали, гады. Бей их, немтырей проклятых!

— Как капусту, порубаем... По коням!

Бойцы вскочили на коней, и Дробинину, Чернышеву-старшему, Блохину с трудом удалось остановить взъярившихся конников и построить эскадрон.

Свирепые крики доносились от наших пехотных позиций. Видно, и там приняли белогвардейских солдат, облаченных в чужую форму, за иностранцев. Безо всякой команды пехотинцы выпрыгивали из окопов и с примкнутыми штыками бегом устремлялись на врага. Окрест загремело раскатистое «ура». Красноармейцы выбили колчаковцев из окопов и ворвались в село.

Вера не услышала команды. Неотрывно следившая за коренастой фигурой Дробинина, она только успела заметить, как над его головой взлетел клинок. Тотчас

ее понесло. Конная лава, размахивая шашками, гикая и свистя, пересекла поле. Справа и слева, впереди и позади скакали товарищи, где-то рядом был Горбунов, Смирнов, Блохин, но Вера никого из них не могла узнать. Вцепившись взглядом в комэска, она гналась за ним, очутилась на бурой, исхлестанной колеями, сельской улице и здесь потеряла командира из виду.

Среди изб и плетней мелькали пятна чужих шинелей, втянутые в плечи головы, бегущие ноги. Кавалеристы рассыпались по селу, крутились среди домов, настигая вражеских солдат, рубили наотмашь, топтали конями.

Увидев петляющего белогвардейца, Вера повернула Буяна за ним в проулок, догнала и рубанула шашкой по сморщенной горчичной спине. Не останавливаясь, конь перемахнул плетень и, пробежав по осевшим грядам, вынес ее на улицу. И она опять нашла Дробинина. Его каурый был уже далеко, на самом краю села. Там происходило что-то важное. Туда же, нахлестывая коней, спешили все бойцы. Вера послала Буяна вдогон.

С опушки соснового леса, видимо из засады, вылетели наперерез нашим конные белогвардейцы. Вражьи всадники вклинились в разорванный строй эскадрона... «Да ведь их совсем немного, срубим»,— опьяненная успехом, подумала Вера. Действительно, нашей силы было больше. Разогнавшиеся в скачке бойцы дружно навалились на беляков. Иных с ходу сбивали на землю, с иными вступали в сечу. Бой растекался на отдельные кучки яростно рубившихся всадников. Рыская глазами, Вера искала врага, с которым придется схватиться, и тут заметила, как худо приходится комэску.

Дробинин опередил всех и скакал за белогвардейцем. Занеся шашку, готовился опустить ее на врага, не видя, что и за ним гонится офицер на белом коне.

«Скорей, скорей!» — Вера пришпорила Буяна, и тот резким скоком рванулся вперед. Он вихрем несся по дороге, и Вера вытянула руку с простертым клинком.

— Буян, Буянушка!—торопила она.

Расстояние сокращалось, но и офицер на своем резвом коне неотступно приближался к комэску. «Не достать клинком, не достать,— мелькнула мысль.— Стрелять надо».

Выпустив эфес так, что шашка повисла на запястье, она рванула отворот шинели, выхватила «бульдожку»...

Вытянув руку над головой Буяна, она прицелилась в поднятую на стременах грузную фигуру беляка и с ненавистью всадила в нее одну за другой три пули.

Офицер скрючился, повалился набок и повис на стременах, царапая дорогу шашкой. Белый конь стремглав умчал его прочь...

Уже вернувшись вместе с товарищами в село, где собирали пленных, Вера вспомнила этого коня. Был он красив и очень похож на того удивительного скакуна, что попался ей в прошлом году в селе Голубихе. Может, тот и есть? Жаль, что не догнала: бой продолжался и было не до сахарного красавца. «Ну и ладно,— утешала она.— Все равно мой Буян лучше».

Вечером Дробинин при всех пожал ей руку:

— Спасибо, Холкин. По гроб жизни не забуду.

Сердце у нее запрыгало от радости. Не каждый день тебя похвалит командир эскадрона. Да и есть за что. Ведь точно же, чистая правда: она ему спасла жизнь.

Дни наступали прекрасные. Солнце поднималось рано, молодое и яркое, начинало свой долгий путь по чистому, ослепительно голубому небу, крупные капли росы сверкали на только что родившейся траве, березы и осины одевались нежной зеленой листвой, легкий парок поднимался над просыхающей дорогой.

Однажды Вера скакала с пакетом в соседний полк, который занимал оборону по берегу реки, разгулявшейся широким половодьем. По пути, в негустом перелеске, попались ей два красноармейца. Они несли очень знакомый, но совсем неожиданный близ фронта предмет. Вера едва поверила глазам: у них в руках был бумажный змей, точь-в-точь такой, какой ладили лобвинские ребята. Только побольше размером. На сером бумажном листе крест-накрест наклеены дранки, а за змеем тянулся длинный хвост из мочалы. Веру разобрало любопытство.

— Запускать, что ли, будете,— придержала коня.

— А как же иначе, даром, что ли, клеили?

— Нашли время в игрушки играть.

— И вовсе не игрушки,— ответил один из бойцов.— А важное дело. Вот, гляди: сейчас привяжем к хвосту пакет и по воздуху отправим белякам гостинец. Ветер-то попутный, быстро долетит.

— Что же там?

— Прокламации и газеты. Пусть почитают, авось поумнеют, поймут, что им против Красной Армии не устоять.

— Ежели такой агитации не хватит,— ухмыльнулся второй красноармеец,— мы им еще подарочек пошлем, погорячее.

Поднявшись на стременах, Вера следила, как, разматывая суровую нитку, легко и сильно взмыл бумажный змей над разлившейся речкой, взобрался в голубое поднебесье и повис над вражескими позициями. Красноармейцы оборвали нитку, и змей, покачавшись в воздухе, колом полетел вниз.

— Ловко!

На обратном пути услышала частую пальбу. «Наверное,— подумала,— наши посылают белякам тот самый горячий гостинец».

Спать вечером не хотелось, хоть и намаялась за день. В Веру точно бес вселился. Во дворе затеяла с «молодяжками» чехарду. В избе вытащила из-за запечья ухват и с ним придумала забаву.

— Ты, Ванюшка, ложись на половицу. А ты, Цыганок, прижми его рогачом... Сумеет ли выкрутиться?

Она разрумянилась, голос звенел, и все шестеро стоявших в избе почему-то охотно ей подчинялись. Заразившись ее весельем, играли и потешались.

— А теперь ворожба.— Она поколдовала у печки и, вытащив два блюдечка, одно протянула Витьке.— Держи, Чики-брики. Смотри мне в глаза и делай то же, что я делаю... Всю судьбу свою узнаешь. Ну!

На столе разгорелась лучина. Вера покрутила блюдечко — и Витька покрутил. Она стала водить руками по донцу — и он. Она погладила себе щеки, словно умываясь, и он вслед за ней. Тут молодые бойцы разразились смехом. Витька недоуменно таращил глаза.

— К зеркалу иди,— приказала Вера.— Всю судьбу свою узнаешь.

Витька кинулся к зеркалу, висевшему в простенке, и взглянул в него:

— Мать честная,— возопил он.— Сажа-то откуда?

— Ха-ха-ха,— веселились ребята.— Экой дурачина: блюдце-то твое снизу вымазано было... Ну, Володьша, уморил...

В разгар веселья зашел в избу старшина.

— Холкин,— позвал он.

— Я, ваше благородие,— Вера подбежала, блестя глазами, озорная, разгоряченная, готовая к новой шутке.

— Н-да,— пожевал губами Блохин и как-то смущенно огладил свою бороду.— Выдь в сенцы.

Все еще ожидая чего-либо забавного, она побежала вслед за старшиной.

— Так вот, Володьша,— угрюмо пробасил тот.— Конь у Дробинина того... засекся... Короче, из строя вышел. Другого надо, хорошего, командиру все же...

— Ну и что?

— А то... Отдашь Дробинину Буяна. Вот...

— Буяна? — вскинулась она.— Ни за что!

— Говорю отдашь...

— Да ведь я Буянку...

— Знамо дело. Но приказ есть приказ. Утром чтобы... Ясно? Иди.

В избе царило веселье, ребята ждали, чего еще затеет Холкин. А она не могла даже поднять глаз, слова старшины ударили как обухом по голове. Бойцы недоуменно смотрели на Володьшу, будто бы его подменили.

— Ты чего? — удивился Витька, так и не отмывший сажи с лица.— Какая тебя блоха укусила?

«Вот кто всему виной,— ожгло Веру.— Конечно, проклятый Чики-брики, он давно еще говорил, что такому коню не под Холкиным летать, а под самим командиром эскадрона. Витька и надоумил Дробинина, паскуда, больше некому!».

— Ты? — она схватила Витьку за грудки.— Ты?

— Чего лезешь? Играй да не заигрывайся.

— Ты Дробинину коня продал, сопля несчастная! — Она кинулась на Витьку с кулаками, а тот растерянно защищался, втягивая голову в плечи.

— Ты, гад!

Ребята с трудом оторвали Веру от перетрухнувшего, ничего не понимающего Витьки, а она все тянулась к нему, норовя съездить кулаком по его замурзанной и вредной роже, совершенно уверенная, что ее страдания происходят от Витькиных злых козней.

Не разговаривая ни с кем, даже с Ваней Горбуновым, она к ночи ушла в конюшню. Ничего не подозревавший Буян сладко спал в стойле, мерно дышал шелковистыми ноздрями. «Не отдам, ни за что не отдам,

думала Вера, устраиваясь у точеных ног коня на слежавшейся грязной соломе.— Разве не она его выходила, поправила, ведь был совсем никудышный, фуражир даже сказал, что не жилец на этом свете? Разве не она, с тятиной поддержкой конечно, раскормила Буяна: эвон какой теперь красивый да гладкий...»

Она вспомнила, как нахваливали чалого скакуна бойцы, эскадронные и иные: «Сто сот стоит», «Умен и учен», «Этого учить не надо, кого хошь сам научит», «Двужильный»... Эх, да чего стоят слова, она получше всех прочих знает, каков Буян — добрый, ловкий, храбрый и верный. Сколько раз вызволял ее от неминуемой гибели!

Не могла она понять и того, почему Дробинин, справедливый, смелый, прямой человек, похвалой которого она гордилась, вдруг решился отобрать у нее Буяна. Неужели комэск не понимает, как дорог бойцу Холкину этот конь? И вовсе горько было думать о вероломстве Дробинина. Только что говорил: «Я тебе жизнью обязан». Вот она, черная неблагодарность!

Уставшая от тяжких мыслей и переживаний, со слезами на глазах, Вера крепко заснула, свернувшись калачиком. Она проснулась, когда солнце стояло высоко и его лучи, бойко пробившись сквозь щели соломенной крыши, растекались по конюшне ярко-желтыми ручейками. Стойло было пустым: Буяна свели!

Подхватив шашку, она вскочила на ноги и побежала по селу. Вокруг было светло и зелено. Дул теплый ветер. На пыльной дороге громко и весело чирикали воробьи. Пахло сиренью. А ей было все не в радость. Даже малиновый звон серебряных шпор, сопровождавший ее повсюду, казался назойливым и противным.

Наконец ей встретился Цыганок на своей низкорослой кобылке. Он сказал, что Дробинин уехал в полк.

— На твоем меринке иноходью поскакал,— сочувственно добавил Цыганок.— И эдак резво... Видать, конь ему по душе...

— Тьфу на тебя,— огрызнулась Вера.— Диво ли, что Буян ему глянулся?

Цыганок обиженно пришпорил кобылку.

Укрывшись в избе от чужих глаз, она предалась горьким размышлениям.

Ясно же, что Буяна не вернуть, с Дробининым ей не поспорить, он командир, а она всего-навсего рядовой

боец, да еще «молодяжка», старший куда пошлют. Ниже ее разве Витька Чернышев, Чики-брики? Делай, что велят: за обозами волочись, донесения да газеты развози. А в бой, когда прижмет... Чего и сделала хорошего, так у комэска из головы вон...

Тогда о ней вспомянут, когда падет она геройской смертью. Со сладкой мукой растравляя свою рану, она живо представила, как навалилась на эскадрон казачья лава. Была страшенная рубка, и нашим не удалось одолеть беляков. Пришлось, пришпоривая коней, уходить от погони. А она нарочно отстала. Отстала затем, чтобы заманить и увести врага. Вот она сворачивает на боковой лесной проселок, и вся белая рать, словно волчья стая, гонится за ней. Она скачет из последних сил, пока не берут ее в кольцо. И тогда, повернув коня, она поднимает «бульдожку» и стреляет себе в сердце.

Ее хоронит весь эскадрон. Она лежит в гробу, покрытая красным кумачом, а Дробинин произносит над ней речь:

— Прости нас, товарищ Холкин Владимир Иванович,— опустив голову, говорит комэск.— Прости, геройский красноармеец, что не ценили тебя и не берегли. И я кругом перед тобой виноватый, что отобрал у тебя славного коня Буяна, твоего верного друга!

...Под вечер ее разыскал Горбунов и передал приказания Блохина: не мешкая, идти на построение эскадрона. Она хотела сказаться больной, но Иван взглянул на нее в упор синими глазищами, и врать стало совестно. Обида обидой, а приказ приказом.

Эскадрон равнялся в конном строю, а лишь она одна, безлошадная, как и в январе, стояла пеша, ожидая насмешек и подтруниваний. Но ничего такого не было. После поверки Дробинин произнес речь. Он говорил о скором наступлении, о том, что недалек час, когда Красная Армия поднимется всей своей могучей силой и, нанеся врагу сокрушительный удар, погонит его через Каму на Урал. Он прочел лозунг, напечатанный в газете «Красный набат», который Вера знала наизусть: «Уральский хребет ныне стал главной баррикадой Рабоче-Крестьянской России. Солдаты Красной Армии — на Урал, на баррикады!»

Дождавшись, когда над эскадроном троекратно прокатилось громкое «ура», Дробинин знакомым жестом,

каким выхватывал из ножен клинок, поднял над головой руку:

— А еще я хочу сказать от себя насчет нашего товарища красноармейца Холкина Владимира... Я благодарил его дважды: за выполнение особого задания и за то, что в бою спас мне жизнь. Теперь я сердечно признателен ему за коня по кличке Буян. Товарищ Холкин получил лошадь выбитую и не годную для кавалерийского строя. Но не пожалел ни сил, ни средств, чтобы выходить ее, за что ему честь и хвала. Этот боевой конь теперь у меня, у вашего командира. Не из личной прихоти, а по праву старшего, который выполняет в эскадроне самую важную задачу, я взял этого славного коня... Ну и спасибо тебе, дорогой товарищ Володьша. И ты не сомневайся, не обидим... Эй, старшина! — зычно выкрикнул комэск.— Красноармейцу Холкину — коня!

Занятая своими горькими мыслями, Вера не заметила, что на правом фланге стоит оседланный невысокий буланый меринок. Блохин взял его под уздцы и, подводя к Вере, торжественно передал повод:

— Держи, Володьша... Сам выбирал, конь добрый. Малкой звать.

Меринок тихо потянулся к ней, и Вера встретилась взглядом с его выпуклыми, как яблочки-райки, ласковыми глазами.

В последнее время ей все чаще приходилось задумываться и рассуждать о том, кто она такая есть, чего стоит в сравнении с другими, что умеет и знает, как на нее смотрят люди. Пожалуй, особенно остро принялась она размышлять после пермской разведки. Как ни велика была радость от одобрения и награды, Вера все же отлично понимала, что оказалась не мастером, а подмастерьем. Мастером-то был Желтышев, которого после возвращения из Перми встречала два-три раза, а вскоре он таинственно исчез, быть может, снова отправился на разведку в тыл врага. Александр, безусловно, был выше ее и опытом, и умом, и образованием, и силой воли. Поняв это, Вера внутренне осадила себя, стала собранней и скромней.

Но так было недолго. Ее захлестнула лихость. В мартовских и апрельских боях эскадрона она играла боль-

шую, чем прежде, роль, участвовала во множестве схваток. Окрепший, налившийся силой Буян помогал ей с успехом и честью выходить из трудных положений. Ее хвалили. Да и сама она видела себя этаким бравым, бесстрашным и удачливым кавалеристом, позванивающим своими серебряными шпорами. Не глядя на остерегающие взгляды Вани Горбунова, не слушая его упреков, она заносилась и любовалась собой. Ей нравилось лихо влетать на Буяне в село, где квартировал эскадрон, осаживать разгоряченную лошадь у самой избы, бросив поводья, взбегать на порожки, расточая малиновый звон, озорно кричать и даже ругаться. Услышав как-то ее красноречие, старшина Блохин постоял, расчесывая пятерней казачью свою бороду, потом решительно повернулся и быстро ушел. Вернулся он минут через двадцать и принес недавний номер «Красного набата», на листе которого ногтем были отчеркнуты строки.

— Ты, Холкин,— сказал старшина,— хотя и читаешь газету, но, видно, плохо, много пропускаешь.

— А что?

— Вот давай только громко, чтоб все разобрали.

И Вера прочла крупно напечатанные строчки:

«Ругайся штыком, бранись пулеметом, выплевывай свинцовые проклятия из дула винтовки. Только такая брань допустима на поле брани».

— Ну? Уразумел? Читай до тех пор, пока до печенок не дойдет.

И после того как рассталась с Буяном, пришлось крепко задуматься. Горя ей, конечно, не избыть, печали не размыкать, коня, как родного, жалко, никогда Буянку не забудет. Но вот что приметно: никто ее вовсе и не жалеет, в страдальцах не числит. Наоборот, улыбаются да похваливают: молодец, Володьша, ишь какого скакуна самому командиру эскадрона подарил. Выходит, даже подарил. В хорошие руки отдал. Почет тебе, Холкин, и уважение!

Вот поди разберись, где тут правда...

В первых же числах июня вышел у нее совсем особый случай. Хоть бои за город Глазов были в самом разгаре, эскадрон получил несколько дней передышки: отоспаться, подкормить коней, помыться и побриться. Кто знает, какие планы на дальнейшее были у начальства? В воздухе пахло наступлением.

Усевшись охлюпкой на своего нового конька, прихва-

тив, увы, теперь дробининского Буяна, лошадей Блохина и Смирнова, Вера погнала их попастись. Предчувствуя удовольствие, табунок весело проскакал лесом и выбежал на обширный луг с удивительно нежной светло-зеленой травкой. Стреножив коней, она сняла опостылевшие сапоги, достала из кармана гимнастерки тонюсенькую брошюрку под названием «Женщина труда», которую прислали из политотдела, и удобно уселась на пеньке.

Росная трава приятно холодила ступни. Припекало солнце, от леса тянул влажный ветерок. Вера раскрыла брошюрку и размечталась. Ведь она и есть женщина труда, с малолетства работала на лесопилке. Кем же она будет, когда закончится война? А что она вскорости должна завершиться, сомнений не было. В газетах каждый день пишут про мировую революцию. А у нас на юге уже ударили по Колчаку, и его войска в панике бегут. Настанет день, и она вернется в Лобву. Кем же она станет? Грузчиком, как богатырь Павлов? Или кузнецом, как дядя Ронжин, который из железа цветок может выковать? Или будет служить при конях — это бы здорово. Ну уж, конечно, в гимназию ей теперь дорога открыта. Сама начальница небось попросит: пожалуйте, коли из рабочей семьи, к вашим услугам...

Она и не услышала, как подошел к ней маленький тощий старик в лаптях. Он вежливо покашлял, и Вера подняла голову.

— Здравствуй, сынок,— старик снял выцветший картуз.

— Здравствуйте, дедушка.

— Ты что же это, сынок, делаешь?

— А что?

— Хлебушко пошто травишь?

— Как травлю? Какой хлебушко? Где?..

— Да вон он, окрест. Что же это, по-твоему, иное, как не зимовая рожь. Даст бог, вырастет и вам же хлебушка и принесет. А ты на нее, солдатик, коней пустил...

— Ой! Да я не знал. Прости, не видывал.

— Ну? Из каких же ты краев,— усомнился старик.— Там, что ли, не сеют?

Заливаясь краской стыда, Вера прогнала с посевов лошадей и, к их неудовольствию, направила в перелесок, где корм был куда бедней и хуже. Как же она

так опростоволосилась? Честное слово, не ведала, что делает. В ближайших окрестностях Лобвы никто ржи не сеял и хлеб всегда был привозной. Вокруг — таежные леса, речки да болота, а из промыслов наиглавнейший — лесной: рубят, возят, пилят, а также множество приисков: старатели добывают золото и платину, немало имеется железоделательных заводов. В поселковых же огородах известные овощи: картошка, лук да репа... Боже мой, как мало она видела и еще меньше знает, если не ведает, как хлеб растет. И сколько всего предстоит изведать и узнать!

Было над чем задуматься.

Глава одиннадцатая

ЧЕРЕЗ КАМУ

Наконец-то началось долгожданное наступление.

Совсем недавно в Прикамье перевес был еще на стороне белогвардейцев: 3 июня они захватили Глазов и упорно пытались развить успех, угрожая Вятке, лелея планы дальнейшего наступления на Петроград. Но то было отчаяние обреченных. После девятидневных кровопролитных боев красные части сломили врага. 13 июня был освобожден Глазов, и неприятель, тщетно цепляясь за населенные пункты, железнодорожные станции, покатился на восток.

С первых июньских дней Веру и некоторых ее сверстников, Горбунова, Цыганка, Витьку Чернышева, вновь назначили вестовыми. На своем Малке, низкорослом, резвом меринке, Вера носилась от части к части с приказами, распоряжениями и донесениями. Все они были весьма срочными, и на пакетах, листках из полевых книжек непременно стояли три креста — знак наивысшего аллюра.

— Лети стрелой! — напутствовал штабной командир.— Чтобы мигом.

— Спешно. Понял? — торопили в стрелковом полку.

— Ответ доставь немедля. Не вздумай где задержаться.

Дороги вдруг стали узкими и тесными, все — в обгон. Прежде, во времена отступления, пешие и конные

отряды, особенно тыловые обозы, старались убраться на проселки, двигались даже лесными тропами, чтобы скрыться от врага. Теперь же все норовили выскочить на большак и дуть по нему, искали путь покороче. Лишь бы скорее. Растянувшиеся на многие версты неутомимо шагавшие пехотинцы, с ружьями и котомками за спиной, орудийные упряжки с утомленными, тяжелыми конями, кавалеристы, не сходившие с размашистой рыси, вереницы подвод, загруженных мешками, ящиками, обсаженных бойцами,— все заполонили тракт. Прокаленная солнцем пыль не поспевала оседать на дорогу, буйными облаками клубилась в воздухе, скрипела на зубах, въедалась в кожу, перекрашивала лошадей в одинаковую серую масть.

За Шабуничами, в тех местах, откуда в феврале отправлялась с Желтышевым в пермскую разведку, увидела Вера, как бойцы спешно сколачивают из неструганых досок большущие щиты.

— Это для чего же? — полюбопытствовала она.

— На колючую проволоку станем кидать,— объяснили красноармейцы.— Они, видишь, загородились в три ряда да в четыре кола, а мы бросим и через ихние укрепления пройдем...

Чем ближе к Каме, тем чаще встречались следы поспешного бегства колчаковцев. На дорогах грудились телеги с фуражом, зеленые фуры с огнеприпасами и разным имуществом, стояло несколько трехдюймовок с обрубленными постромками, кучами валялись мешки, баулы, котомки и офицерские чемоданы.

На лужайке близ тракта толпились бойцы, переговариваясь и пересмеиваясь. Вера завернула Малку. В пыльной траве широким посевом валялись солдатские погоны. На погонах топорщились оборванные нитки, клочки гимнастерок.

— С мясом вырвали,— потешались красноармейцы.— Драпают.

Неизведанное доселе чувство победы охватило Веру. Оно подгоняло, подхлестывало, заставляло все делать быстро и ловко. С ним была неутомительной многодневная скачка, короткий сон вповалку на обочине с привязанным на поводу конем, забывались нехватка хлеба и все прочие тяготы и невзгоды. И новый конек, к которому боялась, что долго не привыкнет, казался почти родным, как Буян. Был Малка неприхотлив, вы-

нослив и удивительно ласков. Ей так хотелось поделиться радостью с отцом, но пулеметная команда не попадалась — быть может, ушла уже к Каме. А искать не было никакой возможности.

В последних числах июня под самой Пермью увидела она около распряженной телеги невысокого худощавого бойца, столь похожего на тятю, что не удержалась и, свернув с дороги, подскакала к нему. Она ошиблась: красноармеец был много старше отца и одет нескладно, без солдатской сноровки, в старые мешковатые гимнастерку и брюки. Он понял, что кавалерист обознался, и улыбнулся беззубым ртом.

— Федот, да не тот?

— Так точно.

— Не унывай, малец, теперь мы все братовья и сродственники. Ты гляди, что делается, пораскинь умом. От Перми они нас, почитай, полгода в отступ гнали: сочти — от декабря до самого июня... Так? Мы обратно всего-навсего за две недели припожаловали. Вот как у нас, не как у вас,— и погрозил на восток сухоньким кулаком.

На рассвете 1 июля с опушки соснового бора, забитого войсками, Вера увидела широкую реку и за ней на взгорье — очертания большого города в сизой дымке, каменные и бревенчатые дома, крутые улицы, уходящие вдаль. Как огромный солдат на часах, над Пермью высился кафедральный собор с поблескивающими на солнце куполами.

Туман медленно рассеивался. На узкой кромке под самой кремнистой кручей прорезался железнодорожный путь с серой ползущей змеей бронепоезда. Засверкали выстрелы. Били орудия броневика, полевые пушки с бульваров и площадей, строчил пулемет с колокольни, трещали винтовки на пристанях и набережной.

На открытом и низком правом берегу рвались снаряды, свистели пули. Пригибаясь и падая, красноармейцы тонкими цепочками текли к Каме. Накапливаясь у воды, они собирали лодки, шитики, вязали плоты.

Бой за губернский город шел со вчерашнего дня. Севернее Перми красному полку удалось форсировать Каму. Карабкаясь по скалистым холмам, пробиваясь лесной чащей, бойцы преградили белогвардейцам путь

на Чусовую. Под огнем четырех вражеских бронепоездов они штурмовали станцию Левшино, овладели ей, перерезали Горнозаводскую линию железной дороги.

Белогвардейская флотилия тщетно пыталась поддержать свои сухопутные силы. Вооруженные пушками и пулеметами суда, рьяно обстреливавшие красные части, нынче уже не могли бороздить Каму. С правого берега их крушила артиллерия наступающих войск, ниже города били канонерки красной Волжско-Камской флотилии. Охваченные огнем, колчаковские корабли выбрасывались на сушу, прятались в затоны.

Отступать было некуда. Охваченные паникой, белогвардейцы жгли свои суда, спускали тысячи пудов нефти из левшинских цистерн, и черная, жирная нефть вспыхивала на воде, неслась огненными потоками, захватывая на своем пути пароходы, баржи, людей.

Погрузившись в воду, свисал пролет взорванного колчаковцами железнодорожного моста.

...Мимо Веры, не слезавшей с седла, пронеслась на рысях конная батарея трехдюймовок. Осадив коней, пушкари отпрягли их, развернули и зарядили орудия.

— По врагам революции,— донеслась команда...— Огонь!

Пушки прямой наводкой ударили по бронепоезду и по кафедральному собору.

— Эй, вестовой, ко мне,— услышала Вера.

Ее звал командир, который стоял у крытой штабной фуры и что-то быстро писал в полевой книжке.

— Красноармеец Холкин...— доложила Вера.

— Вот держи.— Командир протянул ей вчетверо сложенный листок бумаги.— Скачи к мосту, там отыщешь командира Путиловского... Знаешь ты его?..

— А как же? Акулов...

— Во-во. Акулов Филипп. Голос у него громкий, за версту слышно... По голосу и найдешь,— улыбнулся штабной.— Скачи в карьер. Аллюр три креста!

Гулко колотили пушки. С берега, подбитый снарядами, уполз бронепоезд, скрылся за станцией Пермь-I.

Пришпорив коня, Вера услышала восхищенные голоса:

— Гляди, в собор ахнули.

— А еще прямо в архиерейский дом...

Увязая в сыпучем песке, продираясь через густой кустарник, Малка шел крутым галопом. Перед глазами пенилась река, и во всю ее ширь плыли большие рыбацкие лодки, утлые лодчонки, плоты и плотики, несли сотни бойцов с винтовками и пулеметами... Красноармейцы гребли чем придется — досками, лопатками, прикладами, а иные уже стреляли на плаву, поливая огнем белогвардейцев, укрывшихся среди пристаней и прибрежных построек.

«Как же хорошо, ладно, что меня направили в Путиловский полк,— думала Вера на скаку.— Там же служит Тюляев Михаил, лобвинский, земляк». Дважды сводила их судьба и все в недобрую пору, в отступлении. Авось третьей встречи не миновать — в радостное время. «Глядишь, и в город вместе войдем...»

Она повернула Малка направо, к мосту, и отчетливо разглядела развороченные могучим взрывом стальные фермы, искореженные рельсы, воронки от снарядов на песчаном откосе. Она рассчитывала увидеть на берегу конный строй или рассыпавшихся в кустарнике, быть может, спешенных кавалеристов. Но их не было. Вернее, только несколько одиноких всадников маячили на берегу, а сюда валом валили пехотинцы.

Где же кавалерийский полк?

— Путиловцы! — закричала она.— Товарищ Акулов!

— Ты что орешь. Беляки услышат,— остановил ее пожилой конник, который из-под ладони внимательно оглядывал реку.— Кого тебе надобно?

— Акулова. Вестовой я, из штаба, с приказом...

— Вон какое дело,— огорченно пожал плечами кавалерист.— Малость опоздал. Во-он он теперь где, ажник на самой середке... Гляди.

Справа от моста над волнами — сизыми, черными, зеленоватыми — едва поднимались разбросанные течением лошадиные морды и головы плывущих рядом с конями бойцов. Даже по сравнению с лодками, пересекающими реку левее, они казались маленькими и беспомощными на широком камском просторе.

— Так, стало быть, братец,— пояснил пожилой кавалерист.— Филипп-то Акулов не стал переправы дожидаться — баркасов там или баржей. Вскочил на своего Серка и поскакал прямо в реку. «Полк, за мной!» — и все за ним... У нас кони привычные, а бойцы тем более. Не вышло твое дело...

Эх, если бы под ней был Буян, она бы и секунды не раздумывала, кинулась в реку. А Малка? Кто его знает, каков он на плаву. Однако другого выхода нет. Не поворачивать вспять, не скакать же в штаб. «Приказание-де исполнить не мог, весь полк уплыл на тот берег». Размышляя так, она опустила поводья и, тихонько понужая шпорами, подогнала Малка к реке. Тот робко подошел к урезу воды и замер. «Заставлю»,— решила она, спешиваясь.

Сняв шашку, винтовку, сапоги, подвертки, она связала их ремнем и приторочила к седлу. Подтянув повыше кожаную сумку, вложила в нее револьвер, красноармейскую книжку и штабную бумагу. Усевшись верхом, пустила коня по мелководью. На отмели тот шагал послушно, но как только вода захлестнула грудь, остановился и заартачился.

— Вперед, Малка, вперед!

Боязливо вздрагивая, он отворачивал в сторону, пятился и фыркал.

— Ну, маленький, ты же удаленький,— уговаривала она, подергивая поводья, пришпоривая, гладила шею.

И конь, смирившись, мягко лег на воду, оттолкнулся и неожиданно ловко поплыл. Он двигался короткими, быстрыми толчками, направляясь против течения.

Еще несколько минут назад Вера видела все далеко окрест: дым и огни выстрелов на высоком городском взгорье, толпу пехотинцев на своем берегу, лодки, пересекающие реку, плывущих по ней коней и кавалеристов, но теперь все это выпало из ее поля зрения. Она схватывала на десяток саженей вокруг бугристую воду в слепящих солнечных блестках, задранный вверх, дергающийся при каждом толчке лошадиный храп, бурунчики у согнутых коленей и мокрый повод, сжатый в кулаке.

Малка не отворачивал, не рыскал, а усердно тянулся, быстро работая ногами. Но вскоре Вера почувствовала, что ему тяжело. Меринок часто, с присвистом, задышал, седло погружалось. «Не выдюжит,— мелькнула мысль,— негоже мне верхом...» Сжав повод, она осторожно сползла в воду и тотчас окунулась с головой и потеряла фуражку. Отяжелевшая гимнастерка и брюки тянули книзу. Вера заколотила ногами, приникла к коню и уцепилась за гриву. Теперь они плыли рядом. Малка продвигался легче, ловчей.

Оглядевшись, она заметила, как уменьшились и отдалились все окружающие предметы. Лодки совсем крохотные, рассыпались, словно подсолнечная шелуха, а кавалеристы и лошади обратились в спичечные головки. Берега раздвинулись, заволоклись дымкой. Она почувствовала себя маленькой и одинокой. Никто и не увидит и не услышит.

Слева надвигалась, вся в тлеющих угольях, полузатопленная лодка. И еще какие-то доски, обломки ящиков, обрывки канатов. Распихивая их по сторонам, оберегая себя и коня, она пересекла маслянистое черное пятно с пляшущими голубоватыми язычками пламени и снова выбралась на чистую воду.

Течение сделалось сильнее, быстрина резко понесла ее все дальше от моста. Вера поняла, что достигла стрежня реки, и вдруг подумала о глубине. Под ней десятки саженей темной холодной воды, пучина, которая проглотит и ее и коня. Сердце словно оборвалось и покатилось на самое дно. Руки и ноги обмякли, дыхание пресеклось.

Ощутив внезапную тяжесть, Малка напрягся, зарываясь храпом в волны.

Беспомощность длилась минуту, а может, меньше, пока Вера отчетливо не поняла, что все еще держится на поверхности и рядом с ней все тот же мокрый лоснящийся бок коня. «Чего же я испугалась, ведь не тону. Я же хорошо плаваю, у меня и силенки есть»,— ободрила она себя. Затмение миновало, и Вера стала снова подгребать левой рукой, бултыхать ногами, помогая коню.

Малка упорно пыхтел, как маленький пароходик.

Высокий берег медлительно надвигался. Под крутым обрывом показалась невысокая насыпь с железнодорожным полотном, а выше, в зелени, деревянные домики, расселина улицы, каменная тумба, фонарь.

Они были у цели. Меринок осторожно нащупал илистое дно и встал на ноги. Чавкая копытами, встряхиваясь, вытянул Веру на глиняный откос.

Малка не отворачивал, не рыскал, а усердно тянулся. Вихрилась по улице горячая пыль. Повсюду виднелись пехотинцы с винтовками наизготовку, они шагали отрядами, забегали в переулки и дворы. Рысили всадники с обнаженными клинками. Кучками грудились пленные белогвардейцы, уже успевшие сорвать погоны.

Над высоким каменным домом бойцы поднимали красный флаг.

Бережно расправив листок из полевой книжки с расплывшимися тремя крестами, Вера пришпорила коня и галопом понеслась к мощенной булыжником площади, на которой вытягивался в колонну Стальной Путиловский кавалерийский полк.

Глава двенадцатая

ШАШКИ — ВОН!

Августовское утро застало ее на Екатеринбургском вокзале. С тощей котомкой и тугой шинельной скаткой она вяло прогуливалась по грязному перрону. Время от времени Вера резко поднимала правое плечо, как бы поправляя сползающий ремень винтовки, или тянулась рукой к боку, чтобы подхватить шашку, но ладонь ловила пустоту. Оружия у нее не было.

Поезд на Лобву пока не предвиделся. Бог его знает, когда он будет, может, в ночь, а может, завтра или послезавтра. Туда, как она выяснила, поезда ходят редко. Там не фронт. А фронт ушел далеко на восток, да еще имеется иной — на западе. За Уралом, в Сибири, наши гонят Колчака, а к Москве рвется другой белый генерал.

На путях вытянулись составы. Слышен веселый гомон красноармейцев, пиликанье гармони. На теплушках написано мелом: «На разгром Деникина».

Первой мыслью ее было: увязаться с таким эшелоном. Подойти и душевно попросить: так и так, братцы, возьмите с собой, пригожусь. Но ничего не получится. В вагонах все по отделениям, взводам, ротам, лишнего не возьмут. Да и с документами неладно. Ничего, кроме справки об увольнении из Красной Армии, у нее нет. Добро бы увольняли по ранению или контузии, а то как малолетка. Так и написали: несовершеннолетний.

Конечно, она не сомневалась и с тревогой ожидала, что отец сдержит свое слово: «Как возьмем Екатеринбург, так и службе твоей конец». В середине июля Екатеринбург был взят, но в город она так и не попала. После быстрой и утомительной погони за отступающими белогвардейцами эскадрон остановился в заго-

родном поселке на отдых. Оттуда ее вызвали в штаб полка.

Странный там вышел разговор, даже какой-то загадочный. Ни комиссар полка Абрамов, ни штабные командиры, ни писарь, выправлявший документ, ни словом не обмолвились, что она — девчонка. Все «Холкин» да «товарищ красноармеец». Чин чином сердечно поблагодарили за службу, объяснили, что теперь, когда враг изгнан с Урала, нет больше нужды держать в части несовершеннолетних бойцов. Таким, мол, нужно учиться и помогать восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство.

Когда она пыталась возразить, слезно просила оставить хоть ненадолго, комиссар пристально посмотрел на нее и, хитро улыбнувшись, сказал: «Не будем об этом говорить. Ясно?»

Ясно, что все знал, только попросту не хотел ее обижать. Наверно, считал, что так оно лучше. Зачем эскадрону или полку знать, кто такой на самом деле красноармеец Володьша Холкин?

Жаль, даже проститься с ребятами не удалось. Ванюша Горбунов и Цыганок уехали с обозом. Им по семнадцати, они не малолетки. Витьку Чернышева не без помощи старшего брата отправили на командирские курсы.

Так вот все досадно получилось, хоть плачь!..

Дробинин разрешил коня передать отцу: у того пал в бою один из буланых, а меринок теперь его в аккурат и заменит.

С горечью думая о расставании с тятей, Вера не могла предвидеть, что через месяц с небольшим в Лобву привезут тяжело раненого, умирающего отца, что в предсмертном бреду станет он звать к себе дочь и поминутно спрашивать: «Володьша, Володьша, где же Малка?»

За кирпичным, покрытым облупившейся охрой зданием вокзала гремела площадь. Грохоча по булыжнику, катили телеги ломовиков, военные фуры, цокали копытами и ржали кони, слитно топотали сотни людей. Пахло угольным дымом, дегтем, пылью и свежим сеном.

Расстелив шинель прямо у стенки, на накаленных камнях, Вера вынула из котомки провизию — на прощание одарили богатым пайком: хлебом, сахаром, воб-

лой — и принялась за еду. За спиной призывно перекликались паровозы, стучали колеса, слышались команды. В непрестанном движении и шуме, в дорожных запахах таилось что-то успокаивающее и внушающее надежду. Едут же люди туда, куда нужно, и туда, куда стремятся. Тяжело, мучительно, но добираются до цели. Почему же она не достигнет своего? Не на эскадроне же Дробинина свет клином сошелся. Если вдуматься, то даже очень хорошо, что в документах она числится вовсе не как Вера Кузницына, а как красноармеец-доброволец Владимир Иванович Холкин. Тут можно, пораскинув умом, что-то еще предпринять.

Ее внимание привлекли два молодых кавалериста. Стройные, в свежих гимнастерках, новых ремнях и фуражках, они держали коней в поводу и о чем-то переговаривались.

Подхватив шинель и котомку, Вера, звеня шпорами, подошла к ним поближе. Они заметили ее и, навострив уши, уставились на Верины сапоги.

— Здорово, браток,— сказал один из них.— Где же ты раздобыл такие знатные шпоры? Небось у беляков?

— Вроде,— скромно потупилась Вера.— Награду преподнесли в эскадроне. А шпоры точно — в бою взяты, серебряные.

— Хороши, с малиновым звоном. Продай, а то сменяем?

— Нет уж, дареное не продают, не передаривают. А вы на фронт?

— Еще не скоро. Науку превзойдем, тогда и марш-марш.

— Какую науку?

— Кавалерийскую. Мы на командирских курсах. Как выучимся, поставят на конный взвод.

— Ого!

— А как же иначе. Просись к нам, в командиры выйдешь. У нас братва веселая...

Через сутки с небольшим Вера в толпе разношерстных пассажиров штурмом взяла эшелон и забралась на крышу: в теплушке было тесно и душно. Поезд, останавливаясь едва ли не у каждого верстового столба, пополз на север.

Долгой дорогой, среди окружавших чугунку зеленых елей и сосен, под теплым ветром, она лежала на старой, видавшей виды шинели и думала о будущем. В голове зарождался новый, радостный и надежный план...

Она видела себя, Володьшу Холкина, в седле во главе кавалерийской лавы. Обнажив клинок, Вера громким командирским голосом подавала своим конникам команду:

— Шашки — вон! За мной, в атаку!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Если ехать поездом на Северный Урал, в сторону Серова, то на пути окажется небольшая станция Лобва. Я приезжал туда поздней осенью и зимой, вечером или предрассветным утром. Справа в морозном тумане угадывались улицы с редкими крапинками света, а слева вполнеба сияла россыпь ярких огней. Там работали огромные подъемные краны и цеха леспромкомбината. Днем отчетливо различались два края рабочего поселка: дальний — с современными жилыми зданиями, корпусом гидролизного завода, многоэтажными школами и больничным городком и старый, пристанционный — с маленькими бревенчатыми домиками, крытыми дворами, дощатыми тротуарами.

Кузницыны жили в старой части поселка, в трех минутах ходьбы от старинного вокзальчика, на улице Христофорова, в доме № 6. Их домик стоял в глубине уютного тупичка. Сюда чуть приглушенно доносился шум комбината, гул тяжело груженных лесовозов.

В первый приезд я застал семью в полном сборе. В хорошо протопленном зале сидели Прасковья Дмитриевна, Вера Ивановна, Коммунера Алексеевна, Надя и маленькая Танечка: прапрабабушка, прабабушка, бабушка, дочка и внучка.

По старшинству первой рассказ повела Прасковья Дмитриевна, которой в 1975 году исполнилось 90 лет. Из них 56, с 1919 года, она была членом Коммунистической партии. Продолжала повествование ее дочь Вера Ивановна, героиня прочитанной вами повести. Прасковья Дмитриевна нередко именовала ее Володьшей: «Ну это Володьша лучше знает... Пусть рассказывает». В гости к Кузницыным заходил старый кавалерист Михаил Григорьевич Тюляев, с ним юный боец Холкин встречался на фронте.

Из их рассказов и родилась повесть.

Не раз просматривал я семейные фотографии, бумаги. Там есть снимок Веры в красноармейской форме, а в коробочках — награды: орден Прасковьи Дмитриевны и солдатская медаль «За боевые заслуги» Веры Ивановны, полученные к 50-летию Советской власти.

Справка из Центрального государственного архива Советской Армии подтверждала службу В. И. Кузницыной-Демьяненко в 3-м Екатеринбургском и Запасном полках 29-й стрелковой дивизии с осени 1918 г. по конец августа 1919 г., под именем Владимира Холкина. В папке — вырезки из «Правды» и местных газет с заметками и очерками об уральской кавалерист-девице.

У Веры Ивановны была превосходная память на события более чем полувековой давности, и, работая над книгой, мне приходилось лишь домысливать подробности, детали обстановки, действий и военного быта той поры. Основные картины и характеры героев воспроизведены по ее воспоминаниям. Я изменил только несколько фамилий, в точности которых она не была уверена.

Прослуживший в армии три десятилетия, я был поражен, с какой скрупулезностью пожилая женщина, много лет назад полностью потерявшая зрение, вспоминала и как бы видела воочию давно минувшие бои и походы, описывала облик и привычки своих боевых коней.

Горько сознавать, что Веры Ивановны теперь нет в живых. Она скончалась в феврале 1975 года.

В повести перед вами прошел всего неполный год из жизни В. И. Кузницыной, и, конечно, следует хотя бы в нескольких словах рассказать о ее дальнейшей судьбе.

После увольнения из армии в августе 1919 года Вера не отказалась от исполнения своего заветного желания. Она с нетерпением ждала случая, чтобы снова оказаться в боевом строю. В декабре такой случай представился: был объявлен комсомольский набор в армию. И девушка-подросток опять сумела стать воином. Под именем Владимира Холкина она добилась приема на кавалерийские курсы, расположенные в Екатеринбурге. Протекло несколько месяцев нелегкой учебы — полевые занятия в конном и пешем строю, скачки, марши, овладение искусством командира-кавалериста. Близился выпуск, курсант Холкин уже уверенно готовился принять под начало конный взвод, когда его свалил сыпной тиф.

Прасковья Дмитриевна, незадолго перед тем потерявшая мужа, с трудом выходила дочь, и та продолжила службу в Красной Армии. Вера ждала предписания

для отправки на фронт. Но возвратный тиф помешал ей принять участие в боевых действиях.

Она искала работу по себе: трудную, горячую, боевую — и нашла ее. В 20—30-е годы В. И. Кузницына работала в органах ВЧК, ОГПУ и милиции в разных городах Урала. Окончила юридическую школу, была помощником прокурора и следователем. Нередко ей доводилось разоблачать преступников, а то и, оседлав коня, как в годы гражданской войны, преследовать вооруженных бандитов.

После тяжелой болезни возвратилась она в Лобву. В годы Великой Отечественной войны возглавляла бригаду лесорубов, добывала так нужный стране лес.

Когда бы ни приезжал я в Лобву, всегда заставал Веру Ивановну занятой. Она хлопотала по дому, во дворе, ухаживала за кроликами, искусно вырезала из дерева посуду или, надев наушники, внимательно слушала радио.

Нередко у Кузницыной бывали школьники — помогали по хозяйству, беседовали.

Свое повествование я хочу завершить одной краткой историей.

Осенью 1973 года вместе с работниками областного телевидения я готовил передачу о В. И. Кузницыной. Мы записали ее воспоминания на магнитофонную ленту, сделали фотографии, в частности сняли ее встречу с пионерами. Но для передачи нам явно не хватало изобразительных средств. Только где их взять?

Тогда мой давнишний приятель художник-педагог посоветовал обратиться к его ученикам из детской художественной школы. Пусть послушают рассказы о приключениях Веры и нарисуют их так, как себе представляют.

Это было заманчиво. Мы так и поступили.

И вот перед нами двести рисунков, выполненных в большинстве своем ровесниками Веры Кузницыной, которая, как вы помните, записалась в Красную Армию «невступно пятнадцати лет».

Рисунки карандашом и красками... Вера с трофейными винтовками на узеньких плечах. В разведке на монастырской заимке и улицах Перми. На допросе перед свирепым белогвардейским офицером. С высокой каменной кручи прыгает в ледяные воды Туры. Мчится

с пакетом на резвом скакуне. Держась за лошадиную гриву, переплывает широкую Каму. Пританцовывая, звенит своими серебряными шпорами. Десятки раз она изображена на строптивом Воронке, умном и верном Буяне, ласковом Малке.

Рисунки разные — наивные и зрелые, даже мастерские. Но на всех без исключения мы узнали в маленьком худеньком красноармейце отважную, боевую и озорную девочку! Сегодняшние ребята воочию увидели и прекрасно поняли Веру Кузницыну — юного бойца Володьшу.

СОДЕРЖАНИЕ

Шмерлинг С. Б.

Ш72 Серебряные шпоры. Повесть и рассказы. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1981.— 240 с., ил.

Повесть и рассказы о героях гражданской и Отечественной войн, о мужестве юных защитников Родины, о преданности делу революции.

Ш $\frac{70803-086}{М158(03)-81}$ 4803010102 **Р2**

Семен Борисович Шмерлинг

СЕРЕБРЯНЫЕ ШПОРЫ

ИБ № 818

Редактор С. В. Марченко
Оформление Т. Н. Кастериной. Иллюстрации В. Я. Бушуева
Художественный редактор А. В. Вохмин
Технический редактор Т. В. Меньщикова
Корректор Г. Г. Быкова

Сдано в набор 30.10.80. Подписано в печать 14.05.81. НС 12116. Формат 84×108/32. Бумага типографская № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 12,6. Уч.-изд. л. 12,8. Тираж 80 000. Заказ 569. Цена 50 коп.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

Мы были бы благодарны,
если бы читатели поделились
своим мнением об этой книге.

Наш адрес: 620219, Свердловск, ГСП-351,
ул. Малышева, 24, Средне-Уральское
книжное издательство.

50 к

СЕМЕН ШМЕРЛИНГ
СЕРЕБРЯНЫЕ ШПОРЫ